



НОВАЯ ПОЛЬША 7-8/2007

Содержание

1. МОСТЫ ВМЕСТО ОКОПОВ
2. ЧЕЛОВЕК НЕБЫВАЛЫЙ
3. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
4. ПООСТОРОЖНЕЙ, ЭТО ЖЕ НЕ ТУЧИ
5. ГОРОД В ПАМЯТИ
6. СОЛИДАРНОСТЬ С «СОЛИДАРНОСТЬЮ»
7. СТИХОТВОРЕНИЯ
8. ДРАМА ЖИЗНИ И ДРАМА СМЕРТИ ЯНА ЛЕХОНЯ
9. О ЛЕШЕКЕ
10. ЛЕХОНЬ
11. АНДЖЕЙ ВРУБЛЕВСКИЙ — ХУДОЖНИК «МЕЖДУ»
12. ВИЛЬНЮС ПО ВЕНЦЛОВЕ
13. ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
14. КАЗИК ПОЕТ О ПОЛЬШЕ
15. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

МОСТЫ ВМЕСТО ОКОПОВ

Я бы хотел горячо поблагодарить всех, кто разнообразными способами помог епископу стать вровень с празднующими сегодня свое восемнадцатилетие. Всегда приятно почувствовать дуновение молодости, когда тебе уже вот-вот стукнет шестьдесят, а с вашим главным редактором мы можем чувствовать себя сегодня как шестидесятилетними, так и восемнадцатилетними.

Впрочем, уважаемая пани профессор Барбара Скарга, которая только что процитировала несколько текстов, написанных мною во время военного положения, начиная со статей «Полилог» и «Полилог вместо национального диалога», и кончая моей оценкой помпезных ораторов^[1], напомнила нам, что существуют определенные непреходящие ценности. Они не подвержены влиянию времени, и в этом отношении перспектива восемнадцатилетних теряет свои преимущества, зато смыкается в некую общую систему с епископской перспективой — ибо считается, что епископ должен высказывать только вечные истины с перспективы бесконечности.

Сводя обе эти перспективы воедино, позволю себе заметить с точки зрения философа, что я могу принять некую максимально возможную систему, в которой эволюция нашей Вселенной продолжается, согласно положениям релятивистской космологии, почти 14 млрд. лет, но (что в этой системе самое неожиданное) состояние перехода от каких-то первобытных, скажем, троглодитов к *homo sapiens*, ассоциирующимся с так называемой «митохондриальной Евой», согласно результатам генетических исследований, датируется всего лишь несколькими десятками тысяч лет.

Так вот, меня эта пропорция перспектив просто потрясает. 14 миллиардов лет эволюции космоса и 80–90 тысяч лет эволюции человека как биологического вида. Что это значит? Это значит, что во Вселенной в течение более чем 99% ее истории не было человеческого наблюдателя. Подавляющее большинство нашей предыстории — это пустой космос, без существ, горделиво именующих себя *homo sapiens*. Скептики говорят: без человека всё началось, без человека и закончится.

Однако это уже выражение пессимизма, обосновать который, к счастью, больше не удастся. То, как все это закончится и какое будущее ожидает наш вид и нашу культуру, зависит в конечном итоге от нас самих и от тех ценностей, которые мы примем как основополагающие. Ценности эти должны быть включены в тот ход истории, где еще недавно главную роль играла «Солидарность», свобода, человеческое достоинство и права. Мы ощущаем особую ответственность за эти ценности и черпаем особое вдохновение для их защиты в послании всего понтификата Иоанна Павла II.

Стоит, однако, подчеркнуть, что уже в энциклике «*Centesimus Annus*» Иоанн Павел II предостерегал от влияния тех идеологий, в которых принадлежность к той или иной группе изглаживает из сознания всеобщее человеческое достоинство. Мышление может стать настолько идеологизированным, что приверженец идеологии вообще забудет о человеческом достоинстве, о том, что мы принадлежим к общности вида *homo sapiens*, ибо для него идеология окажется, увы, важнее. И это не только теоретическая возможность, но реальность, которую мы poznali на примере Руанды.

Однажды я разговаривал с одним епископом из Руанды и спросил его, где, по его мнению, кроются глубинные корни конфликта между племенами хуту и тутси. В ответ я услышал: трудно говорить о каких-то глубинных корнях конфликта. Представители двух наших племен вступали в смешанные браки, у них были общие ценности, их объединяло множество культурных факторов. Объединяло, пока ими не начали верховодить политики. Тогда во главе государства стали люди с маниакальным стремлением к власти как таковой, которые во имя своих личных навязчивых идей умели манипулировать ненавистью и разделять, чтобы властвовать. Трагедия более миллиона убитых — следствие патологического подхода к политике, когда было забыто человеческое достоинство, чтобы выдвинуть на первый план и развивать чуждую христианству племенную этику.

К счастью, не всегда действия, требующие сочетания политики с этикой, приводят к столь трагическим последствиям. В свете нашей польской истории мы можем с удовлетворением и надеждой смотреть хотя бы на перемены в области диалога народов, на дружеское сотрудничество между многочисленными центрами в Германии и Польше, и, думая об этом, мы глубже понимаем значение памятного послания польских епископов немецким, гласившего: «Прощаем и просим прощения». Послание это навлекло на авторов грома и

молнии — не только в «прогомулковских» кругах, называвших епископов предателями народа.

Последствием этих отгремевших громов и молний сегодня, в исторической перспективе, оказываются дружеские связи с нашими соседями, которых прежде пропаганда представляла исключительно как реваншистов и последышей нацизма.

Точно так же подобные перемены видны в отношениях с нашими украинскими друзьями. Поскольку Люблинская епархия граничит с Украиной, я вижу, как в самых различных сферах формируется новый склад ума нового поколения. Мы с надеждой смотрим на эти формы сотрудничества, уже ставшие фактом. И, безусловно, в этом диалоге культур, в этом наведении мостов христианское представление о человеческом достоинстве играет чрезвычайно важную роль.

А значит, мы можем также надеяться, что и в контактах с нашими российскими соседями культурные и духовные ценности окажутся сильнее, чем политические влияния. Подумаем только, насколько беднее было бы наше духовное наследие, если бы в нашей польской действительности мы не слышали о поэзии Анны Ахматовой или Иосифа Бродского, о размышлениях Андрея Сахарова, мудрости Натальи Горбаневской, о свидетельстве верности, выстраданном Надеждой Мандельштам.

Эти люди так глубоко вошли в нашу культуру, что трудно представить себе их отсутствие в принятой нами жизненной философии. И пан профессор Ежи Помяновский сейчас улыбается, потому что его деятельность оказывается по сути своей поисками этих форм диалога, которые — будем надеяться — в будущем так объединят польский и русский народы, как сегодня об этом могут мечтать только люди, опередившие свою эпоху.

В контексте этих перемен мне представляется, что самой трудной задачей остается теперь польско-польский диалог. Диалог, в котором царили бы не партийные интересы, но близкое христианству ощущение достоинства человеческой личности и забота о столь важном для расколотого общества единстве.

Угрозы этому единству появляются тогда, когда люди забывают, сколь ценна вновь обретенная свобода, или когда истину о человеческом достоинстве превращают в настолько размытую и абстрактную, что она становится оторванной от жизни и начинает подчиняться принципу «цель оправдывает

средства». А тогда уже можно без труда разоблачать врагов народа или повторять вслед за Маяковским: «Единица — вздор, единица — ноль», — забывая о фундаментальной аксиологии, которая должна нас объединять, чтобы мы не повторяли в каждом поколении болезненных ошибок истории.

Поэтому стоит задуматься о том, почему через полтора десятка лет после Октябрьской революции наступил период, который историки называли «красным террором^[2]». Большинство или по крайней мере многих из вождей революции объявили тогда изменниками, судили на специальных процессах.

Интеллигентам напомнили слова Ленина, написанные им в 1922 г.: «Мы очистим Россию от инакомыслящих интеллигентов». Процесс заботы о чистоте России имел известные последствия. Из умственно отсталого ребенка, каким был Павлик Морозов, сделали символ гражданских добродетелей. Монополию на величие закрепили за теми, кто не ставил под угрозу величие Сталина. И тогда даже в психиатрических клиниках открывали новые виды заболеваний, чтобы устранить из общественной жизни тех, кого иначе устранить не удавалось. Это, однако, становилось возможным, когда у них обнаруживали, например, «вялотекущую», или «бессимптомную» шизофрению.

К сожалению, и в нашей действительности некоторые круги, представляющие историю «Солидарности» как историю предательства ее идеалов, нередко уже оперируют понятиями, аналогичными «бессимптомному» коллаборационизму. Это такая скрытая форма коллаборационизма, что о ней не было известно никому, кроме графомана-гэбэшника, писавшего очередные рапорты. И тогда вместо ожидаемого свидетельства правды и свободы мы получаем историю Речи Посполитой на потребу ГБ.

В этой связи весьма характерно, что в послевоенной Польше о Польше довоенной говорилось почти всегда только плохое. Везде видели санацию, буржуазию и уродливые явления. Подобная «историческая» или, вернее, псевдо-историософская традиция заставляет нас задуматься над тем, как избежать повторения тех же ошибок и не возвращаться к тому времени, когда из героев II Мировой войны делали «заплеванных карликов реакции», чтобы сегодня мы сумели проявить уважение к героям.

Например, об инженере Эугениуше Квятковском, чьи заслуги в деле польских экономических реформ невозможно переоценить, в послевоенное время говорили с инфантильным

идеологическим ожесточением, а когда он скончался, уже в эпоху Герека, в 1974 г., на публикации о достижениях строителя порта в Гдыне был наложен запрет. И тогда архиепископ Краковский кардинал Кароль Войтыла предоставил Вавельский кафедральный собор, чтобы к гробу Квятковского смогли прийти люди, стремившиеся отдать дань уважения довоенному Бальцеровичу.

Это было свидетельство причастности Церкви к тем ценностям, которые должны быть горизонтом радения о защите человеческого достоинства, и к поведению, которое не может зависеть от колебаний политических мод. К сожалению, глядя на окружающий нас пейзаж, отягощенный больной идеологией, можно лишь с горечью констатировать, что в некоторых кругах становится принципом изображать национальных героев и главных деятелей «Солидарности» сотрудниками ГБ. При чтении текстов, клеветнически обвиняющих нашего крупнейшего поэта Збигнева Херберта в контактах с госбезопасностью, а Яна Новака-Езёранского, знаменитого «варшавского курьера» и многолетнего директора польской редакции «Свободной Европы», — в сотрудничестве с гестапо, на ум приходит очевидная аналогия с аргументами Сталина, который даже врачей обвинил в заговоре, направленном на подрыв завоеваний революции.

Мы не имеем права развивать историософию, основанную на патологической подозрительности. На родине Иоанна Павла II национальной философией не может стать нигилизм, в рамках которого во имя личных комплексов и предубеждений очерняются всяческие авторитеты. Те, кого формировали порывы ветра с Балтийского побережья (в августе 1980 г.), не могут допустить, чтобы их духовным отцом стал антигерой Оруэлла, ретуширующий историческую правду в книге «1984».

Чтобы приукрасить высмеянный Оруэллом подход к истории, часто применяются различные религиозные завитушки. Например, цитаты из Евангелия, среди которых чаще других в последнее время приводят текст из Евангелия от Иоанна, 8.32: «Истина сделает вас свободными». Однако ссылающиеся на Евангелие нередко забывают о том, что в этой цитате речь идет об истине Иисуса Христа, воплощенной правде, а не об «истине» идеологов, примеры которой можно было найти на страницах другой «Правды» — органа ЦК ВКП(б) и КПСС. Так что у правды немало имен, и давайте, цитируя св. апостола и евангелиста Иоанна, уточнять, о какой правде мы говорим.

О том, что окончательную форму польским переменам придавали не герои романа Оруэлла и не революционные

радикалы, мы слышали в 1979 г., во время первого паломничества Иоанна Павла II на родину, когда он обращался к своим слушателям со следующими словами: «Для вас Христос не перестает быть открытой книгой учения о человеке, его достоинстве и правах. И в то же время книгой, учащей достоинству и правам человека». Верующие, слушавшие своего пастыря, чувствовали себя тогда соавторами этой живой книги, призванными к сотрудничеству с Богом в деле преобразования облика своей страны. Это преобразование оказалось успешным. Нельзя умалять его значение, потому что это означает искажение «оруэлловской» цензурой той задачи, которую поставил перед нами Папа Иоанн Павел II во время своего первого паломничества на родину.

Он еще раз напомнил об этой задаче уходя, когда в день папских похорон снова проявилась книга, а сильные порывы ветра — ветра истории — переворачивали ее страницы. Мы же, наблюдая эту знаменательную символику, ощущали нашу общую ответственность за ход новейшей истории. Сегодня эта общая ответственность требует проявления нонконформизма, смелости и последовательности в свидетельствовании солидарности с несправедливо обвиненными. Она требует наведения новых мостов там, где сегодня сооружается система обширных окопов. Так будем же верить в то, что мы сумеем преодолеть абсурдные конфликты и что те ценности, которые объединяют нас как во время сегодняшней церемонии, так и при многих других встречах, проявят себя как подлинные ценности, несмотря на всевозможные различия. Я хотел бы пожелать этого как нам самим, так и тем, кому сегодня восемнадцать.

Я бы хотел еще раз вспомнить уже упоминавшегося священника и философа Юзефа Тишнера, с которым мы совместно занимали пост декана в Папской богословской академии в те годы военного положения, которых коснулась профессор Барбара Скарга. Я помню, как однажды ко мне пришел некий человек и принес проект «вечного двигателя», позволяющего преобразовывать потенциальную энергию религиозных символов в энергию кинетическую.

Я слушал его с глубоким интересом и размышлял: что же мне с ним делать? Потом задал вопрос: «А как вы лично думаете, где это изобретение можно было бы применить?» — «Ну, например, в военном деле». — «Так штаб на другой стороне улицы, вы к ним и идите». Нет, он армии во время военного положения не доверяет, он только Церкви доверяет.

Тут я уже окончательно растерялся, а он повторил, что проблема использования скрытой кинетической энергии религиозных символов — это научное достижение масштаба Нобелевской премии. И вдруг меня осенило, что у нас тогда философию религиозной символики преподавал Тишнер. И я подумал про себя: подброшу-ка я его Юзеку, пусть у него голова болит.

Приняв такое решение, я сел, чтобы записать ему номер телефона и адрес, но в последний момент для профилактики, решил спросить его: «А кто вам дал мой адрес?» — «Как кто? Отец Тишнер».

Архиепископ Юзеф Жицинский — род. в 1948, духовный сан принял в 1972. Доктор богословия и философии, в 1988–1990 был деканом философского факультета Папской богословской академии в Кракове. Принимал участие в организации конференций, посвященных отношениям между наукой и верой, проходивших в Кастель-Гандольфо под покровительством Иоанна Павла II. В 1997 назначен архиепископом, митрополитом Люблинским. Автор более 50 книг и более 300 статей. Член Европейской академии науки и искусства в Вене и Комитета эволюционной и теоретической биологии Польской АН, Член Папского совета по культуре и Конгрегации по вопросам католического воспитания.

1. «Полилог», по определению Ю.Жицинского, это такая беседа, когда «каждый может говорить о том, в чем он разбирается или не разбирается, и когда резонерствующие демагоги могут плести все, что им взбредет в голову». При этом, добавляет автор, вокруг нас полно ораторов, которые «войдут в историю только потому, что им удастся сочетать выдающуюся глупость с выдающейся же помпезностью». — Ред.
2. На самом деле «красный террор» был объявлен в 1918 г., после покушений на Урицкого и Ленина. Период, о котором говорит автор, получил название «большой чистки». — Ред.

ЧЕЛОВЕК НЕБЫВАЛЫЙ

Хвалить мужа, преуспевшего в трудах и в ученой философии, — дело приятное, но нелегкое. Хотя уже давно отмечено, что весь мир становится светлее и начинает нам улыбаться, когда произносятся слова признательности, а когда давит неприязнь — становится мрачнее. Мои слова, разделяемые, я уверена, всеми собравшимися — и не только ими, — забот не развеют, радости чересчур не прибавят. Ибо мир таков, каков есть, в нем больше темноты, чем света. Тем не менее я хотела бы, чтобы на мгновение достойный муж забыл об огорчениях, чтобы просветлела его озабоченная душа. Должен же он знать, что есть и такие люди, которые слова его слушают жадно, жаждут от него уроков и радуются его присутствию. Они-то и видят в нем не только университетскую мантию, символизирующую *logos*, и не только пастырскую рясу, символизирующую *fides*, но и просто человека, человека небывалого, ибо, как учит печальный опыт, такого редко удастся встретить.

И вот моя похвальная речь последует примеру таких людей, но без громких слов и поклонов, которые лишь выводили бы лауреата из терпения и оскорбляли бы его врожденную скромность. Ибо тот, для кого идеал добра выше всяких красивых слов, похвал не любит и славы не ищет, поскольку весь проникнут заботой о заблудших, и стремится дать им свидетельство красоты и добра в час тьмы. Ибо он знает и не раз говорил и писал об этом — тут приведу его слова, — что хотя «сгущающаяся тьма в конце концов меняется с течением времени, потребность красоты и смысла остается вневременной».

Следовательно, наш лауреат — почитатель смысла и общественной разумности, без которых красота и добро расцвести не могут, а поэтому человеческие низости, человеческая глупость и мелочность так болезненно его затрагивают. О них он говорит неустанно — об этих изъянах, которые общество несмотря на все поучения продолжает лелеять, — объясняет, растолковывает, стремясь вступить в диалог даже с теми, кто истин выслушивать не хочет и отворачивается от них.

Они предпочитают оставаться при своем, как выразился лауреат, «полилоге», то есть при таком разговоре, в котором, согласно его объяснениям, «каждый может говорить о том, в

чем разбирается или не разбирается и в котором демагогические резонеры могут плести все, что им на ум взбредет». А таких «полилогических» резонеров у нас множество, и они так уверены в себе, что затыкают уши, чтобы не слышать предостережений, провозглашая вдобавок, что только они способны — благодаря единственно верной выбранной и занимаемой ими позиции, — с необычайной быстротой воплотить в жизнь добро и справедливость. Вот каким аберрациям они подвержены.

Достойный лауреат не раз с печалью констатировал, что вокруг нас по-прежнему полно ораторов, которые — тут я снова привожу его слова — «надолго войдут в историю по той причине, что исключительную глупость умеют соединять с исключительной помпезностью».

Ты давно стремился понять, о достойный лауреат, причины такого положения вещей. Ты спрашивал, почему те, «кто еще недавно выступал с открытым забралом против тоталитарной системы, вдруг начинают теряться в бездне новых отношений, не находя себе места в чуждом мире насилия и печали». Ты лучше других понимаешь страхи этих людей и их внезапные повороты в ту или другую сторону либо их желание замкнуться в равнодушии по отношению к событиям. Ты пытаешься рассеять их страхи и сражаешься с их равнодушием, ибо сам никогда ни от чего не закрывался, никогда ни на что не смотрел равнодушно. Ты слушал разные голоса, звучавшие с разных сторон, взвешивая их соображения.

Какая же нужна мудрость, чтобы эти соображения извлечь и оценить, какая нужна проницательность, чтобы человеческие ошибки и слабости распознать, назвать и показать их последствия. Какая нужна воля, чтобы спасти растерявшихся на этих крутых дорогах, где больше ценят Каина, чем Авеля, где «сотники от мышления», как ты сам выразился, доказывают, что свобода основана на послушании инструкциям власти. Ты, лауреат, знаешь об этом, ты в разные моменты своей жизни и труда убедился, как низко способен пасть человек.

Однако ты выбрал путь, на котором уже невозможно остаться равнодушным ни к одной капле зла, ни к одному заблуждению и ни к какому страданию. Тяготы этого пути ты выбрал сам и знаешь лучше других, сколько боли он причиняет, как трудно стоять лицом к лицу с человеческой подлостью. Но ты не клеймишь ее, а безумие, когда одни клеймят других по поводу либо без повода, — отвергаешь. Ты выбрал путь понимания и прощения, а это тот путь, на котором ты всегда найдешь союзников, хоть их и не так много.

Часто говорят, что вера и разум согласиться друг с другом не могут, что они всегда находятся в конфликте. Это неправда — достаточно, чтобы и тот и другая обратились к человеку, и вот уже между ними устанавливается глубокая связь, а их пути начинают сходиться. Ты, лауреат, такую связь стремишься укрепить и с этой целью предпринимал не одно начинание. Ибо ты исповедуешь ту высшую истину, в которой твои ряса и мантия, fides и logos объединены в etos.

Барбара Скарга — философ и историк философии, профессор Института философии и социологии Польской Академии наук. Во время II Мировой войны — связная Армии Крайовой. Арестована органами НКВД в 1944, приговорена к 11 годам лагерей. В Польшу вернулась в 1955. Среди ее опубликованных трудов — «Рождение польского позитивизма. 1831–1864» (1964), «Прошлое и истолкования» (1987), «След и присутствие» (2002), «Метафизический квинтет» (2005), а также воспоминания «После освобождения. 1944–1956» (1985). В 1995 награждена орденом Белого Орла. Ее публикации в «Новой Польше» — см. 2000, №6; 2002, №3.

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• «По данным Главного статистического управления (ГСУ), в первом квартале экономический рост составил 7,4%. Инвестиции выросли почти на 30% — больше, чем в разогретой до предела китайской экономике (...) где за тот же период они выросли на 25,3%». («Жечпосполита», 1 июня)

• Томас Лаурсен, главный экономист варшавского отделения Всемирного банка: «У Польши прекрасная экономическая ситуация. Экономика растет благодаря росту внутреннего спроса, а также экспорту и всё большему объему инвестиций. Тем самым создается солидная база на будущее». («Дзенник», 1 июня)

• «По оценкам Конференции польских предпринимателей, в Польше есть вакансии приблизительно для 200 тыс. специалистов. Работников ищет каждая третья строительная фирма и каждое десятое производственное предприятие. При этом число безработных достигает 2,2 млн. человек. В течение года средняя зарплата повысилась на 10%, а представители некоторых профессий зарабатывают даже на 20–50% больше, чем несколько месяцев назад (...) Год назад средняя зарплата строительного рабочего достигала 2000 злотых на руки. Теперь за такие деньги работают лишь самые неквалифицированные. Плотники, арматурщики, штукатуры зарабатывают около четырех тысяч. Но их все равно тяжело найти. Поэтому некоторые фирмы были вынуждены приостановить работы (...) Оклады специалистов с хорошим образованием уже начинают приближаться к западноевропейским. А доходы польских менеджеров часто бывают такими же, как у их западных коллег». («Жечпосполита», 22 мая)

• «По данным министерства труда и социальной политики, в конце мая уровень безработицы составил 13–13,1%, что на 0,7% меньше, чем в апреле». («Дзенник», 5 июня)

• «По данным ГСУ, в прошлом году среднее польское домашнее хозяйство располагало суммой 835 злотых в месяц. Это на 8,5% больше, чем в 2005 году (...) Несмотря на это, в 2006 г. около 18% домашних хозяйств жили за чертой бедности». («Жечпосполита», 6–7 июня)

- «Хотя наша задолженность банкам составляет 200 млрд. долларов, в основном кредиты поляков не превышают суммы 10 тыс. злотых. В таких пределах взяли кредит почти 28% семей. По данным Главного торгового училища и Конфедерации финансовых учреждений, лишь 4,1% домашних хозяйств должны банкам более 50 тыс. злотых — в таких случаях кредит, как правило, берется на покупку квартиры. Зато почти у половины поляков нет долгов перед финансовыми учреждениями». («Политика», 2 июня)

- «Зарплаты всё растут и растут и, похоже, не собираются останавливаться. Уже больше года оклады в Польше растут быстрее, чем ВВП. ГСУ подсчитало, что с марта 2006 по март 2007 г. зарплаты подскочили более чем на 9% (...) Размер социального минимума для одного человека составляет 761,3 зл., а для семьи из четырех человек — 2355,1 зл. (588,80 на человека). В понятие социального минимума входят также дешевая машина, компьютер и мобильный телефон. Однако многие поляки этого минимума не достигают. Для большинства средняя зарплата (в настоящее время 2783 зл.) остается пределом мечтаний. Почти 70% занятого населения (в т.ч. 73% женщин) зарабатывают меньше. Евросоюз дал нам свободу выбора — в частности, выбора работодателя. Решение отправиться за границу уже не так драматично, как в прошлом. Есть смысл зарабатывать там, а тратить здесь. Экономисты предупреждают, что рост зарплат может привести к высокой инфляции, но, с другой стороны, признают, что работающие поляки стоят больше, чем им платят». («Политика», 26 мая)

- «Более 250 польских больниц участвуют в бессрочной забастовке». Врачи требуют повышения зарплаты. («Тыгодник повшехный», 17 июня)

- «Приблизительно в 60% польских школ и детских садов прошла двухчасовая предупредительная забастовка: работники образования требуют повышения зарплаты и права на досрочную пенсию». («Тыгодник повшехный», 10 июня)

- «После первого за почти три года повышения основных процентных ставок (по решению Совета монетарной политики) проценты по вкладам повысили также банки». («Политика», 26 мая)

- «После первых четырех месяцев этого года доходы государственного бюджета были на 5 млрд. злотых больше, чем запланировало правительство, а расходы росли медленнее, чем предполагалось. Благодаря этому дефицит составил всего 2 млрд. злотых. Это лучший результат за многие годы (...) Прежде

всего это следствие значительно более высокого дохода в виде налогов от физических лиц (PIT) и от фирм (CIT) (...) 2006 год был первым годом без налоговых льгот». («Жечпосполита», 16 мая)

• «По оценкам Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также некоторых польских экономистов (...) каждый из нас должен заплатить 58 тыс. злотых. По их мнению, общая сумма долгов Польши составляет уже 2,2–3 млрд. злотых. Роман Хольцман из Всемирного банка подсчитывает все обязательства, которые взяло на себя государство по отношению к гражданам. Экономисты называют такой долг скрытым или общим государственным долгом. «Сейчас в Польше он оценивается в 220% ВВП», — говорит Михал Рутковский из Всемирного банка, один из авторов польской пенсионной реформы. — Если бы не она, этот долг был бы в два раза больше. В 1998 г. все обязательства государства составляли около 460% ВВП»». (Александра Фандреевская, «Жечпосполита», 1 июня)

• ««Я узнала, что меня уволили из-за несогласия с преобразованием [отвечающего за пенсии] Управления социального страхования (УСС) в бюджетную единицу», — признала [начальник УСС] Александра Викторова. Изменение статуса управления позволило бы министерству финансов вписать в госбюджет 3 млрд. злотых, которые УСС ежегодно получает на социальное обеспечение (...) Александры Викторова была назначена директором УСС в 2001 г. по рекомендации «Унии свободы». Она пережила правительства Ежи Бузека, Лешека Миллера, Марека Бельки и Казимежа Марцинкевича. Кроме того, она отвечала за социальное страхование в кабинетах Яна Ольшевского и Ханны Сухоцкой»». («Жечпосполита», 2–3 июня)

• «По мнению Лешека Бальцеровича, больше всего польскую экономику тормозят государственные расходы. По отношению к ВВП они в два раза выше, чем в самых быстроразвивающихся странах (...) Бальцерович называет чрезмерный рост государственных расходов проеданием плодов экономического роста (...) В прошлом году доходы от приватизации должны были составить 5,5 млрд. злотых. В конечном итоге было получено только 0,5 млрд. Чтобы покрыть дефицит, пришлось одалживать на 5 млрд. злотых больше, чем предполагалось»». («Дзенник», 1 июня)

• «Померзло у нас, а подорожает во всем ЕС. 70% плодов и ягод (клубники, малины, смородины, вишни), попадающих на европейские столы, выращивается в Польше. Так же обстоит

дело и с яблоками (...) В прошлом году на экспорте свежих и консервированных фруктов мы заработали 900 млн. евро. В этом году мы продадим за границу меньше, зато дороже». («Политика», 19 мая)

- «С согласия инспекторов по охране природы воеводы дали разрешение на сбор в общей сложности 2,5 тыс. тонн виноградных улиток (...) Ежегодно Польша экспортирует во Францию около 1000 т мяса виноградных улиток и до 2000 т живых улиток. Таким образом, этот год будет не самым удачным». («Жечпосполита», 23 мая)

- Ядвига Станишкис, профессор социологии, бывшая политзаключенная и деятель демократической оппозиции в ПНР: «Из-за резкого, часто истерического протеста правых против инициатив, связанных с охраной окружающей среды, экологи становятся группой, отвергнутой большинством (...) Для меня уважение к природе — элемент патриотизма (...) Польские правые (...) подвержены очень сильному у нас влиянию крестьянских и мелкобуржуазных культурных образцов. Согласно этим образцам, природа — это либо земля, которую надо покорять и осваивать (по крестьянской традиции), либо чуждая и враждебная территория (по мелкобуржуазной традиции). Поэтому следует либо эксплуатировать природу, либо бояться ее. Для такого образа мыслей экология — непозволительная роскошь, поскольку она означает неиспользованные возможности, неосвоенные земли, которые могли бы стать источником прибыли». («Дзенник», 21 мая)

- «Польская промышленность с лихвой восполнила потери, связанные с эмбарго на мясо. Вместо ветчины в Россию поставляются лекарства. Наибольшей популярностью пользуются медикаменты, продающиеся без рецепта. Только в прошлом году объем экспорта лекарств увеличился почти на 29%, достигая без малого 677 млн. долларов. Из всех экспортируемых Польшей лекарств 20% поставляются в Россию». («Жечпосполита», 25 мая)

- «Сначала президент Владимир Путин подсказал, что следовало бы обратить особое внимание на фургоны, везущие из Польши в Россию свиней. Потом российские пограничники не разрешили ввезти в Россию польские яблоки, капусту и цветы (...) 38 тонн яблок и 113 тонн капусты из Польши, а также партия выращенных в нашей стране цветов (...) были задержаны на литовско-российской границе». («Дзенник», 31 мая)

- Встреча в верхах в Самаре: ««В ЕС необычайно важна солидарность. Проблема польского мяса — это европейская проблема», — сказала канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции по окончании саммита. «Нет никаких причин для введения эмбарго на польское мясо. Проблемы были, но их удалось решить. Если бы они продолжались, то сам ЕС приостановил бы торговлю этим мясом на своей территории», — вторил ей председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу». («Жечпосполита», 19–20 мая)

- «В апреле польский министр иностранных дел Анна Фотыга получила приглашение посетить с визитом Москву, но не воспользовалась им (...) По словам пресс-секретаря МИД Роберта Шанявского, причина отказа проста: «Мы ждем, чтобы Россия начала относиться к нам, как к другим странам ЕС, и перестала необоснованно блокировать торговлю с Польшей» (...) Зампредседателя [оппозиционной] «Гражданской платформы» (ГП) сказал, что (...) «логично ограничить число визитов вежливости, когда в польско–российских отношениях существуют реальные трудности». При этом он напомнил о визите Анны Фотыги в Москву в июне 2006 года. Официальной целью было участие в конференции, но встреча с министром Лавровым тогда так и не состоялась». («Жечпосполита», 17 мая)

- Проф. Адам Даниэль Ротфельд, бывший министр иностранных дел: «Россия — это большое, но нормальное государство. Мы ожидаем от нее того же, что и от других государств». («Дзенник», 21 мая)

- «Вчера после двухлетнего перерыва Польские государственные железные дороги возобновили движение поезда сообщением Варшава—Москва. Расстояние между двумя городами поезд преодолевает за 20 часов. Поезд «Полонез» отправляется ежедневно в 16.10 с Центрального вокзала. Место в спальном вагоне стоит от 350 до 600 злотых. Цены даны в евро, поэтому возможны небольшие колебания. «Полонез» предлагает места в современных польских и российских спальнях вагонов, а также в обычных вагонах первого и второго класса». («Дзенник», 29 мая)

- «Что делать с памятниками советским солдатам в Польше? (...) Для 38% опрошенных они символизируют освобождение, для 33% — порабощение (...) Преобладает мнение, что памятники должны остаться на своих местах (57%). Так считает даже 31% тех, кто видит в таких памятниках символ порабощения. 47% из них предпочитают перенести памятники на ближайшие кладбища советских солдат. 49% опрошенных утверждают, что за могилами советских солдат ухаживают надлежащим

образом. 23% придерживаются противоположного мнения». Таковы результаты опроса ЦИМО. («Газета выборча», 25 мая)

- «Ликвидируя эти символы, давайте поставим (лучше всего в Варшаве, в центре) памятник Александру Герцену, благородному русскому, большому другу Польши, поборнику нашего права на независимость в самые темные времена разделов. Вот это был бы жест по-настоящему свободных людей». (Эльжбета Исакевич, «Ньюсуик-Польша», 13 мая)

- Могилы военнослужащих и членов их семей с бывших баз Северной группы войск Советской Армии, размещенных в Польше после войны, будут перенесены из 26 мест захоронения на три новых кладбища. В общей сложности это почти полторы тысячи могил (...) Большинство могил находится в плачевном состоянии. Многие годы за ними никто не ухаживал (...) Вдобавок советских граждан часто хоронили в случайных местах: возле ограды базы или как в Свентошове — на полигоне. К переезду готовят еще около 800 могил, которые должны быть перенесены на кладбище в Легнице (...) Удалось перенести уже более 700 могил — теперь они находятся на кладбищах в Борно-Сулимове и Хойно. В настоящее время там ведутся работы по благоустройству: рабочие устанавливают новые надгробия из светлого гранита, прокладывают дорожки и сажают декоративные кусты». («Жечпосполита», 24 мая)

- Анджей Пшевозник, секретарь Совета охраны памяти борьбы и мученичества: «На сегодняшний день в Польше находятся 634 места захоронения советских солдат. Это маленькие участки кладбищ, группы могил, но часто и огромные кладбища, где похоронены тысячи солдат и граждан СССР, погибших в ходе военных действий. Все они находятся под опекой польских властей, ухожены и охраняются законом. Многие из них в последние годы реставрируются. С нашими могилами дело обстоит хуже. Число мест, связанных с мученичеством и смертью поляков на территории нынешней Российской Федерации, достигает трех тысяч (...) Это, в частности, места массовых убийств, лагерные кладбища. Их необходимо описать, а затем перенести или увековечить иным образом. Лишь в последние годы появились такие объекты, как в Катыни, Медном, а также в Левашове под Петербургом, в Ёгле [поселок в Новгородской обл., мемориал воинам Армии Крайовой, погибшим в лагерях Боровичского района] и в Воркуте». («Тыгодник повсехный», 20 мая)

- «На прошлой неделе Московский городской апелляционный суд отклонил жалобу общества «Мемориал» на решение районного суда, который двумя месяцами раньше отказался

рассмотреть иск «Мемориала» о реабилитации катынских жертв. Общество, занимающееся документацией коммунистических преступлений, требует, чтобы в отношении убитых в Катыни были применены положения принятого в 1991 г. закона о реабилитации жертв политических репрессий. Это событие, широко обсуждавшееся в польских СМИ, прошло незамеченным в российских. Упоминания об этом были лишь в нескольких российских газетах, а российские телеканалы и вовсе не сказали об этом ни слова (...) Руководитель польской секции «Мемориала» Александр Гурьянов сказал, что его общество будет подавать апелляции и в дальнейшем, а если все они будут отклонены российскими судами, обратится в Европейский суд в Страсбурге (...) Честь и хвала «Мемориалу» за то, что в неприязненной среде он осмеливается бороться за справедливость в деле убитых иностранцев». (Анджей Луковский, «Тыгодник повсехный», 3 июня)

- «Польша заняла седьмое место в списке врагов России, составленном [по опросам общественного мнения] московским «Левада-Центром». Если год назад Польшу считали враждебной страной только 7% россиян, то в последнем опросе нас упомянули целых 20% респондентов (...) Автор опроса Александр Голов объясняет: «По телевидению много говорилось о планах ликвидации в Польше советских памятников, о спорах об экспозиции в Аушвице и о значительно менее важном для россиян споре о мясе. Результат налицо!». («Газета выборча», 1 июня)

- Томек Протас, студент Зеленогурского университета: «Мое сердце осталось на Байкале (...) Этот вид вознаградил все тяготы 55-дневного велосипедного похода (все путешествие продолжалось 82 дня) (...) На всем моем пути через Россию я встречался с бескорыстной доброжелательностью людей. Километров за пятьсот до Иркутска я заехал в магазин купить чего-нибудь сладкого. Владелец магазина спросил, чего я хочу, не надо ли мне колбасы, хлеба. У меня уже все было, поэтому я попросил сладкую булочку, а он запаковал мне десять — даром (...) Я весь день думал, почему этот человек помог мне. А вечером встретил другого человека, который с радостью пустил меня переночевать. Эти встречи стали сутью моего похода (...) Поначалу я немного боялся, так как не знал языка (...) По дороге я ночевал у чужих людей (...) Я спрашивал, нельзя ли мне переночевать на сеновале, в гараже или в сарае, а хозяева зачастую приглашали меня в дом. Они принимали меня еще охотнее, когда узнавали, что я студент из Польши. Многие даже помнили Зелену-Гуру по Фестивалям советской песни. Мне топили баню (...) Помыться в бане мне предлагали почти

ежедневно — каждый хотел доставить мне удовольствие». («Газета выборча», 9–10 июня)

• «Посол Украины вручил Адаму Михнику орден Ярослава Мудрого — высшую награду на берегах Днепра. Приказ о награждении подписал президент Виктор Ющенко. «Неизвестно, появилась бы на карте мира независимая Украина, если бы не процессы, начатые «Солидарностью». Огромную роль в этом сыграл Адам Михник. Спасибо вам за то, что сегодня у нас есть свободная Восточная Европа и ее часть — Украина», — сказал посол Александр Мотык». («Газета выборча», 5 июня)

• На краковском саммите президентов Польши, Грузии, Азербайджана, Украины и Литвы враждовавшие до недавнего времени «Саакашвили и Алиев не только встретились на общих заседаниях, но и побеседовали с глазу на глаз; на Кавказ они возвращались в одном самолете, а в Тбилиси приняли участие в торжественном открытии памятника Гейдару Алиеву, отцу нынешнего президента Азербайджана (...) В речи, произнесенной по этому случаю, Саакашвили подчеркнул, что «Гейдар Алиев сыграл решающую роль в том, чтобы азербайджанские газ и нефть транспортировались через территорию Грузии» (...) Президент Алиев публично назвал Саакашвили «мой дорогой друг Михаил». Добрососедские отношения между нашими кавказскими партнерами — одно из условий успеха долгосрочных планов развития промышленной инфраструктуры в этом регионе. В этом смысле краковский саммит оказался хорошей идеей». (Анджей Луковский, «Тыгодник повсехный», 27 мая)

• Из интервью с министром иностранных дел Украины Арсением Яценюком: «Этот вопрос [размещение в Польше элементов американской ПРО] непосредственно нас не касается. Но у нас тоже есть подобные российские сооружения в Ужгороде и Крыму, поэтому мы имеем право высказаться. На самом деле речь идет о двусторонних отношениях между США и Польшей и между США и Чехией. Я не вижу тут никакой угрозы для Украины. Имеющиеся у нас результаты экспертизы свидетельствуют об оборонном характере проекта». («Жечпосполита», 23 мая)

• «На состоявшейся вчера в Гданьске встрече с Лехом Качинским Джордж Буш подтвердил, что, несмотря на сенсационное предложение Владимира Путина, планы строительства в Польше элементов ПРО остаются в силе (...) В Гданьске Качинский сказал только, что «по этому вопросу стороны выразили полное единодушие. Необходимо защищать

мир от безответственных государств. Я не имею в виду Россию», — добавил польский президент». («Газета wyborcza», 9–10 июня)

- «В Хеле два президента окончательно наметили расположение шахт противоракет. Они должны быть построены в Редзикове близ Слупска». («Жечпосполита», 9–10 июня)

- «Члены семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время несения службы за пределами Польши, будут получать пенсию, равную 100% ее базовой части (...) Измененная ст. 45 закона об обеспечении военных инвалидов и их семей (касающаяся непрофессиональных солдат) тоже устанавливает 100% процентную семейную пенсию (...) Военнослужащим (...) травмированным или заболевшим во время несения службы за пределами Польши, медицинские услуги предоставляются вне очереди (...) Кроме того, теперь есть возможность финансировать их лечение из госбюджета (...) Военнослужащим, получившим такие права, будут бесплатно предоставляться лекарства и медицинские изделия (например ортопедические)». («Жечпосполита», 28 мая)

- ««В Польше живет 25 участников гражданской войны в Испании. Ни один законопроект не направлен на их дискриминацию», — отвечал вчера замминистра иностранных дел Януш Станчик на вопрос депутата «Самообороны» о планах лишить бывших бойцов бригады им. Домбровского ветеранских привилегий. В 1936–1939 гг. в рядах интернациональных бригад против режима Франко сражались 5 тыс. поляков». («Газета wyborcza», 24 мая)

- «Познанский книготорговец Влодзимеж П. должен заплатить штраф в размере 5 тыс. злотых за нелегальную продажу книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». По мнению познанского суда, он нарушил авторские права, принадлежащие немецкой земле Бавария». («Дзенник», 8 июня)

- «Вчера маршал Сената Богдан Борусевич поинтересовался у находящегося с визитом в Польше председателя китайского парламента У Банго, какова судьба похищенного 12 лет назад шестилетнего в то время Гендун Чокьи Ньямы. Китайские власти похитили его, когда Далай-лама, духовный лидер тибетцев, узнал в нем новое воплощение Панчен-ламы, одного из высших духовных иерархов тибетского буддизма (...) Когда маршал Борусевич спросил о судьбе Панчен-ламы, это вызвало немалое смятение в рядах китайской делегации. «Меня лишь заверили, что он живет в хороших условиях», — сказал маршал». («Газета wyborcza», 25 мая)

• «Суд в Катовице вынес приговор 15 членам специального взвода милиции за участие в расправе над шахтерами шахт «Вуек» и «Июльский манифест» 16 декабря 1981 года. «Их операция была коммунистическим преступлением», — сказала судья Моника Сливинская. В третьем процессе по этому делу командир взвода был приговорен к 11 годам лишения свободы, а остальные милиционеры — к срокам от 2,5 до 3 лет лишения свободы». («Тыгодник повсехный», 10 июня)

• Из интервью с Марек Эдельманом: «Иоанна Щенская: «Отвергая ходатайство о продлении предварительного заключения доктора Мирослава Г., судья обратил внимание на возмутительное кодовое название, которое дало делу Центральное антикоррупционное бюро. Сегодня уже известно, что это было кодовое название «Менгеле»». Марек Эдельман: «(...) Тот факт, что государственное учреждение приравняло доктора Г. к нацистскому преступнику, который лично наблюдал за медицинскими опытами на узниках концлагеря Аушвиц и стал символом врача-убийцы, — это проявление варварства в мышлении людей, которые должны быть стражами закона (...) Это опасный симптом (...) в публичной жизни, где царят ментальность тайных служб и ненависть. Внимание! Опасность уже на пороге»». («Дзенник», 31 мая)

• «В июле 2006 г. в Эльблонге по обвинению в коррупции был задержан психиатр Роман М. (...) В связи с этим полиция сообщила, что годом раньше на восемь задержанных в Варминско-Мазурском воеводстве врачей приходилось семь психиатров. Кто будет следующим?» (Рышард Соцка, «Политика», 2 июня)

• «Информируя бывших президента и премьера Александра Квасневского и Лешека Миллера о том, что их разговоры не прослушиваются спецслужбами, премьер-министр Ярослав Качинский, вероятно, превысил свои полномочия. Согласно закону об Агентстве внутренней безопасности (АВБ), засекреченные сведения можно предоставить исключительно по требованию прокурора или суда (...) Адвокат Войцех Брохвич (...) направил начальнику АВБ Богдану Свенчковскому письмо следующего содержания: «Прошу объяснить, по какой причине и на каком законном основании Ваше учреждение прослушивает мои телефонные разговоры на работе и по месту жительства» (...) Ответ подписал заместитель Свенчковского Гжегож Отечек, написавший, в частности, что он вынужден «отказать в предоставлении какой бы то ни было информации, поскольку следует констатировать, что в данном случае отсутствуют причины, предусмотренные законодательными

нормами» (...) Тот факт, что Квасневский и Миллер получили информацию от самого председателя совета министров, а адвокату Брохвичу было в ней отказано, свидетельствует о несоблюдении принципа конституционного равенства». («Политика», 26 мая)

• Доктор Славомир Муравец, психиатр, медицинский директор варшавского Центра психического здоровья, преподаватель кафедры психиатрии варшавской Медицинской академии: «Общественные настроения передаются. Сейчас у нас преобладает настроение: разоблачить врага! Подслушать, проверить, исключить. И люди подозревают, что их подслушивают, проверяют друг друга». («Ньюсуик-Польша», 3 июня)

• «Президент работает ночами (...) «Случалось, что я уходил от него в три часа ночи», — говорит один из президентских сотрудников. А если так, то все люди президента остаются во дворце допоздна (...) «Вечером президент любит посидеть подольше (...) любит заказать бокал красного вина», — говорит наш собеседник из канцелярии президента (...) «Бывает, что встречи затягиваются до двух ночи (...) Президент очень полюбил Юрату [резиденцию в курортной местности на Хельской косе], где можно идти два километра по пляжу, зная, что никто не выйдет из-за дюны (...) Поэтому он приезжает туда все чаще (...) и именно там все чаще принимаются самые важные решения», — добавляет наш собеседник». («Дзенник», 29 мая)

• ««Хотелось бы, чтобы польская система включала в себя принцип равновесия властей, который в нашей стране не действует. Есть две власти — законодательная и исполнительная, — которые кое-как друг друга уравнивают. И есть третья власть — совершенно автономная (...)», — сказал президент Лех Качинский, принявший участие во вчерашнем заседании Генеральной ассамблеи судей Верховного суда (...) Ответом на это стало предложение председателя Всепольского совета правосудия Станислава Домбровского. Согласно конституции, совет стоит на страже независимости судов и судей. «Надо освободить суды от надзора исполнительной власти [министра юстиции] и поручить этот надзор первому председателю Верховного суда», — предложил Домбровский». («Газета wyborcza», 18 мая)

• О чем говорили польские епископы в проповедях на праздник Тела Господня? Председатель Епископской конференции Польши архиепископ Юзеф Михалик: «Правящая партия не сдала моральный экзамен, ибо не поддержала

конституционную защиту жизни с момента зачатия». Кардинал Станислав Дзивиш, митрополит Краковский: «Власть, не замечающая нужд вверенных ей людей, не получит благословения Божия». Архиепископ Казимеж Ныч, митрополит Варшавский, сожалел, что поляки отдаляются друг от друга, и призвал к единству. Он подверг критике язык политических дискуссий, заметив, что ему очень далеко до евангельского языка, объединяющего людей. Быдгощский епископ Ян Тырава: «Действия польского правительства и политиков оторваны от действительности и грозят анархией (...) Необходимо начать глубокую государственную реформу». Ломжинский епископ Станислав Стефанек подверг резкой критике забастовки врачей, учителей и медсестер, назвав их террористическим методом. («Дзенник», 8 июня)

• Из интервью с доминиканцем о. Мацеєм Зембой, богословом, философом и публицистом: «Я вижу, как загнивает демократия. В этом виноваты все понемногу, и сознание этого особенно мучительно (...) В политическом дискурсе преобладает желание дезавуировать и уничтожить противника. Это во-первых. Во-вторых, происходит нечто очень опасное — демократию пытаются свести к процедурам, причем иногда подогнанным под ситуацию. Используются юридические крючки вопреки здравому смыслу, ради самой борьбы (...) Один из результатов этого — внутренняя эмиграция значительной части народа. Это видно по крайне низкой явке на все выборы (...) В то же время сегодня мы живем в свободной, демократической стране. Все разговоры об угрозе демократическому строю абсурдны и смешны». («Жечпосполита», 6-7 июня)

• Из беседы с премьер-министром Ярославом Качинским: «Я помню, как в 1991 году ко мне подошел бывший министр финансов (ныне покойный) и вдруг начал меня расспрашивать, в каком отделении его банка у меня счет. Я честно сказал, что ни в каком, а он в ответ: «Ничего, мы вам откроем!» Конечно же, я отказался. Но эта ситуация помогла мне осознать, как легко сделать человека аферистом. С тех пор я ни разу не открыл счет ни в одном банке. Я не хочу допустить ситуацию, когда кто-нибудь без моего ведома переведет на мой счет деньги, а на следующий день я прочитаю об этом в газете». («Впрост», 20 мая)

• «После падения коммунизма, в период Третьей Речи Посполитой, казалось, что политические анекдоты отжили свое (...) Однако после последних выборов и прихода к власти нынешней коалиции политический юмор неожиданно

возродился (...) Проф. Януш Чапинский: «Польша разделена на тех, кто безоговорочно поддерживает братьев Качинских, и тех, кто опасается их власти. Поэтому напряжение растет, а политическая сатира его снимает». Петр Мосак, психолог: «Обильный урожай политической сатиры — свидетельство наших раздоров, а также признак бессилия. Уж если мы никак не можем изменить ситуацию, то хотя бы посмеемся» (...) Частные телеканалы наконец-то поняли то, что давно известно в демократических странах: разочарование общества может стать золотой жилой. На смехе можно заработать, причем немало». («Ньюсуик-Польша», 10 июня)

- На вопрос института «Millard Brown SMG/KRC» «С чем у вас ассоциируется власть?», поляки ответили так: с коррупцией (61,1%), с политикой (60,3%), с деньгами (60%), с привилегиями (51,8%). Меньше всего власть ассоциируется с заботой о гражданах (29%), с заботой о государстве (28,6%), со справедливостью (27,6%) и со страхом (21,1%). («Ньюсуик-Польша», 3 июня)

- Согласно опросу ЦИМО, на выборах в Сейм «Гражданская платформа» набрала бы 29% голосов (что дало бы ей 194 места в Сейме), «Право и справедливость» — 24% (161 место), «Левые и демократы» — 12% (62 места), «Самооборона» — 8% (41 место). В Сейм не прошли бы «Лига польских семей» и крестьянская партия ПСЛ, которые набрали бы по 3% голосов, а также «Правые Речи Посполитой» (0%). («Дзенник», 11 июня)

- «Вчера депутаты оппозиции от «Союза демократических левых сил» и «Гражданской платформы» пришли в Сейм с двумя немецкими догами, таксой и двумя китайскими хохлатыми (...) На этот собачий парад их вдохновил маршал [Сейма] Людвик Дорн, который на прошлой неделе пришел в парламент со шнауцером». («Жечпосполита», 16 мая)

- «Свое мнение высказал старейшина польского парламентаризма проф. Веслав Хшановский, который считает, что достоинство Сейма было оскорблено (...) Правила запрещают приводить животных на место работы (...) Вдобавок не были приняты необходимые меры предосторожности (...) «В общественных местах собаки должны быть в наморднике и на поводке», — сказал пресс-секретарь Главной комендатуры полиции (...) Пресс-секретарь Государственной санитарной инспекции считает, что депутаты нарушили предписания и даже могут заплатить штраф». («Дзенник», 16 мая)

- «По городу Стшельце-Опольске (...) неслась пожарная машина с включенной сиреной и полностью экипированной командой

(...) Мама-утка и несколько утят вошли в магазин, торгующий ламинированным паркетом, и спрятались под одним из стендов. Владелец магазина позвонил в пожарную охрану (...) «Кого же мне было вызывать, как не пожарных, если их представитель публично хвалился, что ему доводилось вытаскивать из канализационного люка выдру, а его товарищи освобождали барсука. Кроме того, они ловили страуса, быка и помогали застрывшему коню»». («Дзенник», 28 мая)

• «Словаки собираются отстрелять 400 медведей, живущих в их горах. Польские лесничие опасаются за жизнь сотни наших мишек с польско-словацкого пограничья в Татрах и Бескидах». («Газета выборча», 11 июня)

• «Появляется все больше доказательств того, что животные любят, страдают, поступают назло, проказничают, играют, смеются и плачут, сочувствуют. Кроме того, у многих млекопитающих есть богатый звуками и символами язык (...) Проблема прав животных перестала быть чисто теоретической (...) 12% кур и 14% свиней умирают от стресса, ран и болезней, прежде чем достигают размеров, при которых их можно пустить на убой (...) К 2012 г. Евросоюз планирует ликвидировать тесные клетки для кур (...) В текущем году Европарламент принял закон, запрещающий торговлю на территории ЕС кожей и мехом кошек и собак (...) Человечество уже не уйдет от вопроса, можно ли нам по-прежнему относиться к животным как к вещам. В конце концов мы ведь тоже животные». (Хенни Лоттер, Магдалена Френдер, «Ньюсуик-Польша», 27 мая)

• «В Татрах пропал двухлетний медведь (...) Поиски продолжаются». («Дзенник», 23 мая)

ПООСТОРОЖНЕЙ, ЭТО ЖЕ НЕ ТУЧИ

«Ну что ж, вполне можно», — вроде бы произнес 2 июля 1951 г. Юзеф Сигалин, главный архитектор Варшавы. Он как раз водил по городу министра иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова, когда тот спросил: «А как вы посмотрели бы в Варшаве на такое же высотное здание, как у нас?» В этой беседе не было места для сиюминутной импровизации. Накануне прогулки с Молотовым архитектора проинструктировали, что гость «неожиданно» предложит возвести в Варшаве Дворец культуры и науки. Ему следовало отреагировать положительно и не вдаваться в детали.

Когда в середине 90-х инженер Георгий Аркадьевич Караваев узнал, что варшавский Дворец культуры и науки ветшает, он решил самолично проверить его состояние. Осмотрел этаж за этажом, а потом стал на колени перед тогдашним директором дворца и сказал: «Спасибо, товарищ, что вы так за ним следите».

«Ну что ж, вполне можно», — вроде бы произнес 2 июля 1951 г. Юзеф Сигалин, главный архитектор Варшавы. Он как раз водил по городу министра иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова, когда тот спросил: «А как вы посмотрели бы в Варшаве на такое же высотное здание, как у нас?» В этой беседе не было места для сиюминутной импровизации. Накануне прогулки с Молотовым архитектора проинструктировали, что гость «неожиданно» предложит возвести в Варшаве Дворец культуры и науки. Ему следовало отреагировать положительно и не вдаваться в детали. Своим ничем не значащим согласием Сигалин положил начало длящейся уже более полувека общенародной дискуссии о зигзагах и извивах архитектуры и политики. Ни одно сооружение в нашей истории не возбуждало столь горячих чувств. От любви до ненависти. От признания до презрения.

Когда после эпохи разделов Польша вновь обрела независимость, жители Варшавы стихийно отреагировали на это тем, что разобрали воздвигнутый на Сасской (Саксонской) площади после восстания 1863 г. огромный Александровский собор, символ царского господства. Точно таким же образом — подправляя новейшую историю — поступила недавно

Германия, разрушив построенный в 70-е годы на Александерплац простенький модернистский коробок — Дворец Республики. Баталия за будущее этого здания, которое рассматривалось как символ ГДР, продолжалась десять лет. И завершилась она полным поражением тех, кто убеждал, будто этот дворец обладает архитектурной ценностью и нельзя назвать хорошей мыслью возведение на его месте бутафорского новодела — дворца прусских королей. Вдобавок еще и как-то намекающего на историю прусского империализма, о котором Германия предпочла бы позабыть. А вот варшавский Дворец культуры и науки с недавнего времени уже принадлежит к числу архитектурных памятников — как краковский Вавель, варшавский Вилянов или замок в Мальборке. Снос ему уже не грозит.

Историческая необходимость

Трудно сегодня догадаться, сколько было в ничего не значащей реплике Сигалина: «Ну что ж, вполне можно», — смиренной покорности, а сколько одобрения в адрес навязанного замысла. Когда дело дошло до выбора польского уполномоченного по делам строительства дворца, Сигалин ответил категорическим отказом на предложение Берута принять это назначение. Однако когда понадобилось окончательно установить высоту здания — самолет буксировал за собою воздушный шар, а архитекторы снизу наблюдали, в достаточной ли степени тот погружается в облака, — то вроде бы именно Сигалин кричал: «Выше, выше!» Это означало, что дворцу было суждено приобрести грандиозные размеры и уходить шпилем в самое небо, особенно на фоне вездесущих развалин столицы. И он эти размеры приобрел. «Поосторожней, это же не тучи — Дворец культуры высится могучий», — пели в 90-е годы «Электрогитары».

Сигалин, архитектор и градостроитель, родившийся в Варшаве в 1909 г., несомненно, наложил свой отпечаток на родной город. Он намечал основы первого генерального плана послевоенной Варшавы, участвовал в создании трассы «Ву-Зэт» с Силезско-Домбровским мостом, Лазенковской трассы, Мариенштата, а также ряда площадей — Парадов, Конституции и Замковой. Сигалин был фактическим организатором Бюро восстановления столицы. И знал, что согласие на дар Советского Союза — это историческая необходимость.

Соцреализм, который так и бьет из каждой декоративной детали Дворца культуры, был неприемлем для его коллег — архитекторов, воспитанных в модернистском каноне. «Весь XX век — это последовательная устремленность к максимальной

функциональности и упрощению. Соцреализм со своей помпезностью и иногда вульгарной временам орнаментикой был и остается для приверженцев модернизма неким рвотным снадобьем, тупиком в истории архитектуры, чем-то таким, что вообще не должно было случиться», — говорит Гжегож Пентек, ведущий редактор ежемесячника «Архитектура-муратор» («Архитектура-строитель»).

Символ порабощения

В том году, когда было принято решение о строительстве дворца, власть ПНР в молниеносном темпе перепахивала облик восстанавливаемой Варшавы. На бывшей Банковой площади торчал уже готовый к открытию памятник Феликсу Дзержинскому, из-под строительных лесов на Иерусалимских аллеях проглядывали современные конструкции Центрального универмага. Торжественного разрезания ждали все новые и новые ленточки. Однако Дворец культуры и науки имени Сталина был самым важным. В истории дипломатии случаются ценные подарки. Статуя Свободы, или «Свобода, озаряющая мир», — монумент, стоящий у входа в нью-йоркский порт, — была подарком от Франции в сотую годовщину принятия Декларации независимости. Эта статуя стала символом свободной Америки и занесена в список ЮНЕСКО как памятник всемирного культурного наследия.

Дворец, подаренный Польше Сталиным, должен был стать символом порабощения. Для варшавян и приезжих, которые поднимали город из руин, он представлял собой провокацию. Таким вот образом в самом центре Варшавы архитектура переплелась с политикой.

Официально подарок Советского Союза вызывал эйфорию. «Неужто просто так, бесплатно? ...Неужто в качестве доказательства и выражения дружбы? ...Ради того, чтобы помочь братскому народу? Дипломатические хроники не знали таких ценностей», — радовался журналист Кароль Малцужинский. Огромную заинтересованность строительством дворца выражали даже дети. Переплетенные в коленкор альбомы газетных вырезок тех лет полны фотографий подъемных кранов и репортажей со строительной площадки. Обитатели общежития «Молодой лес» в Торуни так писали рабочим-комсомольцам: «Дорогие товарищи! С огромным интересом следим за вашим трудом и достижениями на строительстве могучего здания — дара советского народа польскому народу. Беря пример с ваших достижений, мы и сами стараемся еще более производительнее трудиться в области школьной деятельности с целью

скорейшего построения социализма в нашей стране». Поэты взялись за перья. «Быстро растет, как из камня цветок, он на клумбе нашего города», — писал юный талант Роман Писарский. Маститый Ян Бжехва выражал такую надежду: «Стремиться будет вверх он, к небесам, / Поближе к птицам, тучам, облакам, / И бросит вызов всякой буре / Наш дружбы дар, Дворец культуры». Но в тот период не появилось ни одной популярной, легко запоминающейся песенки о возводимом колоссе — такой, чтобы она была у всех на слуху. Поэтому его строили в такт мелодии о Мариенштате или же песенки о красном автобусе, мчащемся по улицам города.

Для проектирования своего подарка Сталин отрядил Льва Руднева, малорослого мужчину с характерной, стилизованной под Ленина бородкой и с галстуком-бабочкой, который вечно сидел криво. Руднев был выпускником пользовавшейся хорошей репутацией петербургской Академии художеств и человеком, изрядно повидавшим на своем веку. Он много путешествовал по Италии, прежде чем перешел на службу к новой власти и запроектировал памятник Борцам революции на Марсовом поле. Среди его произведений — монументальное неоренессансное здание Дома правительства в Баку и такое широко известное сооружение, как Московский университет им. Ломоносова на Ленинских горах, форма которого должна была стать образцом для варшавской новостройки.

Во время возведения Дворца погибло 16 человек, в том числе двое детей, которым свалились на голову строительные леса. За их могилами на православном кладбище в варшавском районе Воля ухаживают работники дворца. Советские строители питали к зданию родительские чувства, а к его сотрудникам — братские. Они регулярно приезжали на очередные круглые дни рождения дворца. Ритуал носил установившийся характер: собрание в Зале конгрессов, на сцене ансамбль песни и пляски «Мазовше», его художественный руководитель Мира Зиминская-Сыгетинская — в левой ложе (она смотрела каждое выступление своего коллектива), потом торжественный обед в ресторане «Конгрессовом», где в центре ключом бил фонтан. Сразу же после официальной части товарищи — с бутылками «Московской» и «Столичной», шейки которых торчали из карманов брюк и пиджаков, — пробирались в подвалы. Там в атмосфере застолья они вместе с рядовыми сотрудниками дворца укрепляли польско-советскую дружбу.

Георгий Аркадьевич Караваев, советский уполномоченный по делам строительства дворца, написал о нем книгу «Рождение высоты». В начале 90-х он сильно переживал из-за сообщений

российской прессы о том, что здание ветшает и вот-вот рухнет. По этой причине министр Барбара Блида пригласила его на инспектирование. Когда Караваев снял пальто, хозяева увидели костюм, полный орденов и планок, включая орден Строителей Народной Польши и «Polonia Restituta» (орден Возрождения Польши). Здание он осмотрел тщательно, этаж за этажом, а после инспекции подвальных помещений, уже полностью успокоившись, стал на колени перед тогдашним директором дворца и сказал: «Спасибо, товарищ, что вы так за ним следите». Во время посещения могил советских строителей он скрупулезно переписал их имена и фамилии, после чего сказал: «Прежде чем уйти из жизни, я хочу оповестить их семьи, что здесь у них есть могилы». Успел ли он? Неизвестно. Через несколько месяцев Караваев умер в своей московской квартире от сердечного приступа.

В качестве даты открытия монументального творения власти ПНР выбрали 22 июля, официальный праздник Возрождения Польши. Летописец дворца Зофья Щубелек до сего дня держит в ящичке стола позолоченные ножницы немецкой фирмы «Толле», которыми перерезали ленточку. У дворца есть ровесник — стадион Десятилетия в варшавском районе Прага, построенный на развалинах столицы. Судьба обошлась с ним более жестоко. Овал стадиона служит сегодня территорией, где действует едва ли не крупнейший базар всей Европы.

Первое боевое крещение здание дворца прошло уже через десять дней после открытия, во время V Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В Мокотове [район Варшавы] появился палаточный городок, в здании дворца проводились различные мероприятия. Все сходили с ума по пластмассовым ремешкам и платочкам с флагами государств, откуда прибыли участницы. Большой интерес вызывали гости из Африки — в Варшаве никто еще не видел столько чернокожих.

Свидетель истории

Год спустя, в октябре 1956 г., дворец стал свидетелем политических перемен. С почетной трибуны незаметно смылся маршал Рокоссовский. Выпущенный из тюрьмы Владислав Гомулка выступал на заполненной людьми площади Парадов. В какой-то момент толпа захотела ворваться во дворец, где находился радиоузел. Обслуживающий персонал подпер мощные двери дубовыми скамьями. Забаррикадовавшись таким образом, они отразили штурм — единственный в истории здания. Впрочем, служба дворца была обучена реагировать на любую ситуацию. Этот коллектив — сторожа, персонал по обслуживанию залов, электрики и сантехники,

даже дворники — состоял в большинстве своем из доверенных и проверенных партийных товарищей. Власть отдавала себе отчет в том, что такой символ, как дворец, провоцирует нанести по нему удар.

Первым директором дворца стал Станислав Барщевский, который вместе с армией Берлинга прошел путь от Ленино до Берлина. Он был энтузиастом этого здания, дворец манил его настолько сильно, что Барщевский мог заскочить туда посреди ночи, чтобы лично проследить за всем. Он и принял сюда на работу Ханну Щубелек, которая наряду с обычными обязанностями в административно-правовом отделе получила дополнительное задание — создавать летопись здания. Сегодня запертые в сейме на 15 этаже пожелтевшие страницы большой красной книги хранят событие за событием всю выписанную каллиграфическим почерком историю здания, которую пани Щубелек, дочь защитника Черняковского форта в Варшавском восстании, ведет уже на протяжении 46 лет. Однажды Щубелек восстановила против себя власти, когда в 1961 г., после празднования дня 22 июля, изрезала висевший на здании дворца огромный транспарант с изображением Ленина. Мотивировка была прозаической: вождь революции заслонял служащим свет и доступ к свежему воздуху. Щубелек буквально через 15 минут потащили на допрос. А защитил ее и не дал признать саботажницей Барщевский.

Хотя дворец со временем стал считаться своего рода мирским храмом, дух места не был милостив к новым героям. В 1963 г. огромный, площадью почти в тысячу квадратных метров, зал им. Феликса Дзержинского сгорел до голого кирпича. Тогда говорили, что история по справедливости рассчиталась с кровавым Феликсом. В красном антураже Зала конгрессов проходили съезды Польской объединенной рабочей партии. С третьего, состоявшегося в 1956 г., и вплоть до того, что был созван в 1990 г., — самого памятного, на котором ПОРП самораспустилась и прозвучала команда: «Вынести знамя», Когда во дворец стягивался партийный актив, тамошние сотрудники получали указание оставаться на своих этажах. «О том, что у нас происходило, мы узнавали сначала по радио, а потом по телевизору», — говорит Щубелек. О приспособлении помещений под нужды партийных чинуш всегда ходили легенды. Говорилось о роскоши и великолепии прилежавшего к Залу конгрессов небольшого салона, именовавшегося «Брежневкой», хотя Леонид Ильич побывал в нем, кажется, всего один раз и ничего не известно насчет того, чтобы именно эта комната пришлась ему по вкусу. Власти располагали также — на время первомайских демонстраций —

возведенной перед дворцом почетной трибуной. Вход на нее был прикрыт тротуарными плитами и откидывающейся железной крышкой. Внутри — комната отдыха, выложенная деревянными панелями с узором из розочек, электроплитка, ванная. Сюда можно было спуститься на минутку-другую, подкрепиться, поддержать силы коньячком. Уже за несколько недель до демонстрации помещения проветривала специальная Привисленская военная часть. Однако в сражении с запахом тухлятины все усилия польского оружия все равно терпели поражение.

Легенда о всемогущей власти, заседающей во дворце, со временем оказалась перенесенной на само здание. Бывало, люди писали ему письма, рассматривая как последнюю инстанцию, но вместе с тем инстанцию сердечную и близкую. «Дорогой Дворец», — величали они здание. Однако оно не отвечало.

Тем не менее это сооружение было центром культурных событий, делавших заметно светлее серую пээнэровскую действительность. И предлагало множество заманчивых развлечений. Здесь пели Марлен Дитрих, Ян Кепура, Ив Монтан, а Пол Анка ушел со сцены, когда поступило сообщение об убийстве президента Кеннеди. Здесь в 1967 г. выступала группа «Роллинг стоунз». Для экскурсий, которые приезжали посетить столицу, осмотр Дворца культуры представлял собой железный пункт программы. Туристов всегда притягивала терраса со смотровой площадкой. И, хотя Руднев запланировал тут кафе «Под шпилем», власти приняли решение зарабатывать на панораме города. Вплоть до 80-х, пока на этой террасе не установили заграждение, гарантирующее безопасность, она служила отчаявшимся как место эффектных самоубийств. Первым был некий француз, который имел в своем распоряжении Эйфелеву башню, но предпочел выбрать наш дворец. Последней жертвой террасы оказался молодой ученый из Польской Академии наук, вышвырнутый с работы в период военного положения за связь с подпольной «Солидарностью».

В бурные 80-е годы дворец вступил как свидетель истории. 13 декабря 1981 г. военное положение застало тут врасплох участников памятного Конгресса польской культуры. В подъездах и на лестничных клетках появились солдаты с «калашниковыми». В 1987 г. здание, запланированное как мирской храм, послужило самым настоящим алтарем. Площадь Парадов и прилегающие к ней улицы никогда не видели более многолюдных толп, чем на варшавском богослужении с участием Папы Иоанна Павла II.

Символ капитализма

После 1989 г., когда пришел конец братской дружбе между польским и советским народами, из главного вестибюля дворца внезапно исчезла бронзовая скульптура работы Алины Шапошниковой, изображающая двух строителей Дворца культуры — поляка и советского гражданина с флагом в руке. Сплетня гласит, что бронзу продали какому-то бизнесмену по цене металлолома. Надпись «Дворец культуры и науки им. Иосифа Сталина», выбитую над главным входом на плите из песчаника, вначале грубо прикрыли листами жести. Сейчас ее тактично заслоняет неоновая вывеска.

Социалистический дворец полностью влился в рыночную экономику. Возникли даже идеи его приватизации. В состав правления предложил себя некий Джон Ковальчик, мнимый миллионер из Америки, разбудивший надежду, будто он инвестирует в здание доллары. Миллионер исчез, владельцем дворца по-прежнему остается столица страны совместно с государственной казной, а о его продаже никто уже всерьез не думает. Зато реальной проблемой стали претензии бывших владельцев больших каменных домов, на развалинах которых возник дворец и вся площадь Парадов. Сегодня уже мало кто помнит, что до войны здесь существовала нормальная, плотная городская застройка — здесь, в частности, проходила прославленная варшавская улица Хмельная.

Зато через дворец проходят, почти не задерживаясь, самые разные постояльцы. «Социологический срез очень изменился», — говорит Щубелек. Когда-то это были преимущественно чиновники и научные работники. Здесь пребывали Польская Академия наук, ПЕН-клуб, Управление атомной энергетики, Вечерний университет марксизма-ленинизма, общество «Знание». Несколько этажей занимал Варшавский университет. Сегодня, помимо учебных заведений и ПАН, тут располагаются городской совет, банки, школы танца, медицинские центры, частные фирмы.

С начала 90-х в головах архитекторов блуждали все более смелые проекты уничтожения дворца. Чеслав Белецкий предлагал вбить в тело здания со стороны Иерусалимских аллей — на месте Музея техники — своего рода клин, разместив в этой точке Соцландию, забавно-издевательский музей коммунизма. На объявленном в середине 90-х годов архитектурном конкурсе победил проект, предусматривавший возвести вокруг дворца несколько небоскребов, чтобы уменьшить воздействие сталинского творения на столицу. А сам дворец в ожидании окончательного решения избавился от

исторических коннотаций. Для молодежи он стал символом поп-культуры. А совсем недавно оказался даже героем скандала, когда знаменитая американская сеть ресторанов «Хард-Рок Кафе» в ходе кампании, рекламировавшей ее первое заведение в Центральной и Восточной Европе, использовала стилизованное изображение дворца, вписав его в фон с гитарой. В соответствии со стратегией фирмы каждый из 124 ее ресторанов имеет собственный логотип, как-то соотносящийся с городом, где он располагается. Оказалось, что Варшава сильнее всего ассоциируется как раз с дворцом.

ГОРОД В ПАМЯТИ

— Вы взялись за гигантскую задачу — в одиночку составляете «Атлас старой архитектуры улиц и площадей Варшавы».

— Прежде всего — из ностальгии по утраченному городу. Думаю, русский читатель хорошо это поймет: II Мировая война смела с лица земли немало советских городов.

Варшава, как я чувствую, так никогда уже и не вернулась в прежнее состояние. Это заметно не столько по ее внешнему виду, сколько по жителям, которые утратили чувство большого города. Кроме того есть еще одна причина, по которой я обратил внимание на то, о чем пишу: отсутствует сознание и уважение к тем осколкам прошлого, которые уцелели. Я решил полезть на рожон и попробовать хотя бы кратко переписать всё, что сохранилось, составить подробный инвентарный список, описать. Кстати, это оказалась книга с продолжением: сейчас вышло уже 12 томов, но и это еще не всё — уже существует компьютерный вариант, осуществляемый с большим опережением, этим занимается, пополняя его, моя сотрудница, есть и собрание фотодокументов. Так возникает огромная база данных. Первоначально я создавал ее по мере своих возможностей, с надеждой, что в нашу эпоху перемен, когда у меня на глазах рушатся всё новые довоенные объекты, это станет последней записью, памятью об этих объектах. Но зато спасением для других, их сохранением, потому что самый незащитный объект — тот, о котором ничего не известно. Доходный дом, не имеющий ни имени владельца, ни имени архитектора, ни истории, становится трущобой, развалиной. Я знаю, что во многих случаях моя книга спасла жизнь старым зданиям.

— Можете ли вы сказать несколько слов о своем инструментарии, методах работы и связанных с нею трудностях?

— Если говорить об инструментарии, то изучение истории Варшавы — задача намного более трудная, чем изучение истории других городов. Были не только разрушены дома, но и сожжены архивы, все архивы, в том числе архив архитектурных планов. Каким-то чудом немцы не успели сжечь собрание ипотечных книг, а ипотеки учреждены во времена императора Наполеона в Герцогстве Варшавском и практически содержат даже документы XVIII века. Таким

образом, по крайней мере в отношении тех времен, с конца XVIII века до 1944-го, в подавляющем большинстве случаев сохранились разнообразные материалы.

В ипотечной книге регистрируется прежде всего состояние собственности и его перемены, но больше всего интересных вещей можно найти между строк, потому что там лежат еще десятки страниц черновиков. В этих черновиках часто записаны вещи, которых начисто уже не писали, например кто был архитектором. При ипотечной книге находится собрание документов, нередко содержащее сенсационные вещи, даже проекты, хотя проекты — это все-таки исключительно редкий случай, зато почти всегда есть подробные планы участков. Тут уже многое можно найти. Хотя даже в книге прямо не сказано, в каком году дом был построен, но очень часто можно найти подходящую запись. Это метод, разработанный профессором Варшавского политехнического института Ядвигой Рогуской: сравнивая цены покупки и продажи данного участка, можно установить, и часто очень точно, в каком году было построено здание. Тем более что доходные дома продавались часто. Таким образом, мы видим, что кто-то покупал участок, скажем, за десять тысяч рублей, а через год продавал эту недвижимость за сто тысяч. Вывод: там построен доходный дом. Это один из элементов системы умозаключений. Однако в межвоенный период еще как правило присоединяли документ о том, что такой-то и такой-то получил разрешение на строительство, с именами владельца и архитектора. В царские времена это не делалось с такой точностью, можно говорить скорее о хаосе в документах. Зато есть нечто, чего, полагаю, еще ни один историк архитектуры не проверил: думаю, что многое можно будет найти в Петербурге. Поскольку тут, в Варшаве, существуют черновики разрешений на строительство, сохранившиеся в т.н. губернских актах, у меня возникли серьезные подозрения, что где-то в Петербурге удастся найти документы целиком, потому что наверняка делались копии, которые оставались в тамошнем архиве, а во многих случаях разрешение на строительство зданий общественного пользования — костелов, театров и т.п. — выдавалось в Петербурге, и комплект планов вместе с остальными документами должны были отправлять туда. Так что это следующий шаг, который надо будет сделать. Тем не менее пока что черновики и ипотечные книги о многом мне рассказали.

В глазах русского историка ипотечные книги выглядели бы знакомо, потому что в свое время они печатались по-русски, под названием «Ипотечный указатель», а обычно и заполнялись по-русски. Тут, впрочем, приходится немножко

заняться языковой гимнастикой, так как в книгах записи сделаны по-русски, по-польски, по-немецки, по-французски — в зависимости от того, кто тогда правил в Варшаве. При этом характерно, что русские записи начинаются с 1865 г., когда вступил в силу указ, согласно которому все документы в Царстве Польском должны составляться на русском языке. Ну и началась трагедия, потому что хуже всего читаются эти русские документы: их готовили те же поляки, которые перед тем писали по-польски. Пока эти документы составлялись по-польски, они были замечательными, ясными и читаемыми, но когда чиновников заставили писать по-русски, они, не зная правил русской каллиграфии, писали как курица лапой. Писали жутко, это напоминает стенографию, — для меня всегда огромная задача разобраться. Хотя я довольно хорошо пользуюсь русским языком, тут я, однако, временами рву на себе волосы. В связи с этим я применяю такой метод: как не могу в чем-то разобраться — фотографирую и на время откладываю, потом сажусь, включаю компьютер, смотрю на экран и как правило сразу улавливаю смысл того предложения, которого мне нехватает. Но вернемся еще к инструментарию и источникам. Я всегда стараюсь собрать как можно больше данных на определенную тему — ту, над которой я как раз работаю, — и отправляюсь в Варшавский государственный архив, где сохранились замечательные комплекты карт, в том числе, пожалуй, лучшее в Европе собрание подробных цветных планов города, сделанных Линдлеямидля варшавского водопровода. Фантастические планы, недавно изданные, по крайней мере частично, в виде книги; они составлены в масштабе 1:200, 1:100 — видны даже лестницы, ведущие в здания, подключения всех труб и т.п. Эти планы делались, собственно, для нужд водопровода и канализации, но потом пополнялись и стали основой подробной картографии города вплоть до II Мировой войны — и, по счастью, сохранились.

Вдобавок есть фотопланы, еще один необходимый материал для историка. Самые старые аэрофотосъемки делались во время I Мировой войны, но первое сводное, почти фотограмметрическое собрание фотографий города было создано в 1926 г., следующее — в 1935-м, новый комплект аэрофотосъемок собрала Люфтваффе после бомбардировок, в октябре 1939 г., затем — русские в 1945 г. и наши фотограмметрические службы — в 1947-м. Русского читателя, может быть, заинтересует, что этот фотоплан 1945 г. доступен в Интернете, на странице Варшавского городского управления — достаточно включить «Поиск» и написать *Ortofotomapa1945*. Этот план совершенно необходим историку, на нем виден каждый участок, и все, что было разрушено, в 1945 г. еще не

было разобрано, поэтому здания, хоть и выжженные, показывают не только свои очертания, но и интерьер, внутреннее деление стен, видны все детали застройки. Эти планы плюс, как я уже сказал, сохранившиеся документы, ипотека, вдобавок более поздние источники и труды, до- и послевоенные, — вот это мой основной инструментарий. Когда я начинаю писать очередной том, то прежде всего, конечно, сижу столько, сколько надо, в архивах и библиотеках. К счастью, у меня тропки уже настолько протоптаны, что так или иначе я копирую эти материалы, чтобы работать дома, или фотографирую, или сканирую, или заказываю копии. Все это тащу домой, и только тогда, когда у меня уже все под рукой и я знаю, чем располагаю и чего нехватает, начинается процесс написания. И сам процесс создания того или иного тома — уже дело короткое, он отнимает у меня три-четыре месяца.

Конечно, тут требуются различные дополнения, надо обращаться к адресным, телефонным книгам, даже к списку предприятий — все это, как шестеренки, цепляется одно за другое; ну и, разумеется, пресса, это особенно тяжелая работа: например, просмотреть годовую подшивку, скажем, «Курьера варшавского», газеты, в которой перед войной было уже несколько десятков страниц, а выходила она ежедневно двумя изданиями! Там скрывается множество подробных, мелких сведений — собранные воедино, они дают невероятные результаты.

В «Атласах» для меня две вещи важнее всего. Каждая глава — монография одной улицы. Улицу я рассматриваю как нечто большее, нежели просто архитектурно-градостроительный вопрос. Теоретики архитектуры и градостроительства изучают город районами, кварталами, а я — улицами, так как меня интересует и человеческая сторона этой истории, а не только история застройки, а между тем своей спецификой обладает не квартал, потому что он может выходить на четыре улицы с совершенно разным характером, а именно данная улица, на которой был такой или иной вид торговли, жило на ней больше или меньше евреев, русских, немцев или поляков, и всё это определяло ее характер. Следовательно, тут действует ряд факторов. Сопоставление всех сведений из газет с чисто профессиональными источниками дает в результате полную картину, и тогда я пишу главу, посвященную истории данной улицы. А вторая часть монографии улицы — перечень, который подводит итоги всему, что сохранилось. Здесь каждый объект, который сохранился, инвентаризован до последней детали, даже такой, как любопытные дверные ручки. Это элементы, которые массово погибают даже сейчас, разрушаются: ворота,

двери на лестничных клетках, жители меняют полы, выбрасывают старые мозаики и прочие вещи такого типа. Между тем эта тема совершенно не изучена.

— Как вы оцениваете состояние трудов по изучению архитектуры и истории Варшавы?

— Такой комплексной оценки у меня еще нет, потому что до сих пор историки предпринимали попытку такой оценки на основе изучения городских районов или самых известных зданий, я же не делаю разницы, изучаю каждую сохранившуюся постройку. Иногда в строительном смысле это выглядит ничтожно, тем не менее если мы осознаем, что это «ничтожество» могло составлять, скажем, 60% всего построенного, то соотношение выглядит совершенно иначе. От этих домов почти ничего не сохранилось, никто по ним не плакал — например, весь этот еврейский район в Муранове. Конечно, встречались и красивые доходные дома, но преобладали, разумеется, жутко построенные здания. Если их сегодня вообще нет, то практически трудно увидеть это в должных пропорциях. Некоторые вещи надо уметь уловить и сравнить.

Рядовой левобережный варшавянин всегда ощущал и до сих пор ощущает чуждый дух Праги, то есть правобережной Варшавы, ввиду некоторой ее особенности, большей близости к Москве и Петербургу, чем к западному миру. До конца XVIII века Прага была отдельным городом, но не поэтому к ней так относятся. После войны, будучи наименее варшавским районом, она стала самым варшавским, потому что не была разрушена. И не только выжили ее жители, но место истребленных евреев заняли тысячи людей, утративших свой дом на левом берегу. И Прага в принципе стала эссенцией довоенного варшавского духа со всеми его наслоениями, смешными сторонами, манерой говорить, диалектами. Там они доживали свой век.

Застройка там дошла почти не нарушенной до 1970-х, когда ошибочно понимаемая модернизация города, как в Риге, привела почти к полному исчезновению деревянной архитектуры. В Праге ее было очень много, чего совсем не было на левом берегу. С тем, что там оставалось, она и так резко отличалась от левобережной Варшавы, отстроенной после войны в совершенно ином виде. Поэтому Прагу воспринимали как совершенно другой город, потому что аналогов ей на левом берегу уже не было. Я вижу множество признаков сходства между таким районом, как Прага, и довоенным еврейском Мурановом, сегодня совершенно новым районом. Если бы этот

район, этот старый Муранов, существовал, Прага не выглядела бы такой экзотической, потому что были бы аналогии. А ведь архитекторами и владельцами доходных домов в большинстве были евреи из левобережной Варшавы, которые вкладывали здесь капиталы, потому что земля была дешевле, а значит, можно сказать, что эта пражская особенность — в известной степени миф: обычно с обеих сторон реки были те же люди, разве что компоненты складывались иначе. Ну, здесь было больше русских, это факт, больше восточных наслоений, но в целом те же самые фамилии — достаточно взять списки владельцев доходных домов. А все остальное население? Их дифференциация — это тоже мифы: чем отличался рабочий, живущий в Праге, от рабочего из правобережной Воли? Только тем, из какой деревни пришел. Конечно, те, что жили в Праге, пришли в основном из деревень, лежавших дальше к востоку от города — скажем, из Седлецкой земли, а в Волю приходили откуда-нибудь из-под Сохачева, то есть с запада, и этого уже было достаточно, чтобы у них был другой диалект и другая культурная окраска. Пришедшие с востока были ближе к культуре Великого Княжества Литовского, зачастую с белорусскими наслоениями. В зависимости от мест, откуда были родом, они отличались в образе жизни, и на этой основе создавались особые городские диалекты. По-своему говорила Прага, по-своему — Воля, по-своему — Повислье и Черняков. Это не взялось ниоткуда — это попросту вытекало из того, что здесь была огромная доля людей из деревни, которые прибывали в город — их притягивала гигантская промышленность.

Что практически значит быть коренным варшавянином? Сегодня коренной варшавянин — тот, кто живет здесь с довоенного времени. Между тем перед войной по крайней мере половину жителей Варшавы составляли иммигранты из деревни. Они и погибали потом, во время войны, как варшавяне. Они были прописаны здесь всего лишь несколько, самое большее полтора десятка лет. Не можем же мы отнести за счет натурального прироста то, что Варшава с ее 800-тысячным населением в 1918 г. двадцатью годами позже насчитывала 1,32 миллиона.

— Насколько существенным было присутствие русских в Варшаве, какое влияние оно оказало на ее архитектурный облик?

— Административное и политическое присутствие в высшей степени очевидно. Достаточно взять любой адрес-календарь той эпохи. Такой, какие тогда были модными, — в форме

толстых томов. Он всегда начинался днями тезоименитства членов царской семьи. сразу за ними следовали имена и фамилии всех царских высших чиновников всех уровней — было видно, что русские занимают почти полностью все уровни, польских фамилий там было не много. Только всякие заместители и еще пониже были поляками. Во главе всех ведомств, управлений и т.п. стояли русские, главным образом военные, плюс целая, уже гражданская сеть чиновников, полицейская сеть, где, однако, ключевыми фигурами тоже были русские из отдаленных губерний. Именно это определенным образом отражалось на поведении, на образе жизни русских в Варшаве. Совершенно по-разному функционировали те, кто чувствовал себя связанным с городом, и те, кто был направлен сюда попросту царским приказом-указом на какую-то должность. Они подходили к Варшаве совершенно по-разному.

Еще особое дело — российский гарнизон невероятной численности. Это были десятки тысяч людей, к 1914-му — общим счетом больше ста тысяч. Огромное количество казарм. Варшава была городом-крепостью, задыхающимся в кольцах этой крепости. Если к военным мы прибавим все их окружение в виде семей, армейского обслуживающего персонала и проч., мы получаем гигантскую махину. Солдаты жили в казармах, но только часть офицеров квартировала при воинских частях, остальные покупали недвижимость в Варшаве. Были целые пространства, где в немалой степени преобладали русские, например южные окраины Центра, то есть район, скажем, между Нововойской, площадью Спасителя, площадью Люблинской унии. Там русских жило сравнительно больше всего, но жили они и на аллее Роз, вблизи Уяздовских аллей или Пенкной (Красивой) улицы, Уяздовских казарм. Там были попросту целые русские колонии. Это проявлялось, разумеется, в воздвижении построек, связанных с жизнью этих людей. Это были не только православные церкви, но и казино, в этом районе проектировали русский театр, который в конце концов так и не построили. Другим таким районом была правобережная Варшава, то есть Прага, где русские купили очень много доходных домов, а символы православия были значительно более зримы, чем в левобережной Варшаве. И третьим таким районом были пригороды, ныне входящие в черту Варшавы: тогдашние Повонзки, Руда, Маримонт, где русские строили себе дачи. Буквально лет 15-20 назад в Маримонте еще можно было увидеть такие деревянные дачи. До сего дня некоторые русские дачи сохранилось в предместьях правобережной Варшавы, вдоль линии железной дороги на Отвоцк, но там их трудно отличить от дач, которые строили

поляки или евреи. Их стиль, в просторечии называвшийся «свидермайером» (от местности Свидер и стиля бидермайер) несомненно уходил корнями в русскую архитектуру — в пейзаже сегодняшней России постройки такого типа легко увидеть.

Церкви были, пожалуй самым существенным элементом пейзажа Варшавы во времена российского владычества и обладали одной характерной чертой: только немногие из них служили гражданскому населению — большинство были войсковыми. У каждого стоявшего в Варшаве полка была своя гарнизонная церковь. Про многие из них мы практически ничего не знаем, не сохранилось никаких сравнительно точных изображений. По простой причине: они служили только армии, только армия в них бывала, а гражданские лица, тем более нерусские, не имели туда доступа. Часто они находились на территории казарм. Трудно даже представить себе, как они выглядели. Сейчас из них сохранилось только одно такое церковное здание на Черняковской улице, которое ныне служит польско-католическим костелом. Это здание практически не перестраивалось, хотя купола у него сегодня скорее византийские, чем русские: первоначально это была церковь с характерными луковичными куполами*. Есть еще одна войсковая церковь, но она стала католическим костелом и сильно перестроена. Нет и следа куполов, зато поставлена стрельчатая башня. Это церковь Кексгольмского гусарского полка возле площади Люблинской унии. И вот интересно: если вообразить себе ее первоначальный вид, то эта церковь была бы такая же, как та, которую мы можем увидеть например в Гродно, в Демблине или еще где-нибудь на былом пограничье империи Романовых. Просто потому, что это была типовая модель церквей, строившихся для армейских гарнизонов. Все они были одинаковые, с очень характерной, специфической чертой. Типовая гражданская церковь как правило в проекции приближалась к квадрату, с центральным куполом и окружающими его четырьмя куполами. А войсковые церкви имели более удлиненную форму. Дело было попросту в том, чтобы армейские части могли входить маршем на богослужение; все эти меньшие купола были сдвинуты в сторону апсиды, и вот это сразу показывает, что перед нами гарнизонная церковь, — как раз такая форма у церкви Кексгольмского полка.

Были и такие церкви, которые строили исключительно для того, чтобы они царили над панорамой города, стали символом господства Романовых над Варшавой. Такую роль выполнял собор на Саской (Саксонской) площади. Не было никаких

религиозных потребностей, оправдывавших воздвижение такого ценного и огромного храма в том месте, где было сравнительно мало пространства, чтобы им любоваться, да и русских здесь было не слишком много. Собственно говоря, для всех гражданских русских хватило бы трех-четырех церквей, между тем их было в Варшаве несколько десятков.

Бывшая церковь на Черняковской выстроена в традиционном плане греческого креста, так же как и самая красивая из сохранившихся церквей — собор Марии Магдалины; это, правда, одна из самых лучших церквей, самых интересных среди тех, что стоят до сих пор. Осталась еще церковь на православном кладбище района Воля, по-прежнему действующая. Эти две последние из мною названных — единственные церкви тех времен, которые остаются действующими. Часть церквей была снесена, главным образом войсковые и, конечно, собор на Саской площади. Была снесена церковь при больнице Младенца Иисуса, потому что ее специально пристроили к тамошнему костелу. Эти церкви попросту больше всего раздражали поляков, и надо это понять: они были символами известного диктата. Зато большинство из них перестало существовать в панораме города по причине очевидной: это были захваченные и превращенные в церкви костелы, такие, как первый православный собор на Длугой улице, переделанный из костела ордена пиаристов, или костел на Вольском редуте. Перестройка этого костела в церковь носила символический характер, потому что это же было место героической обороны польских войск во время военных действий 1831 года и место смерти генерала Совинского, командовавшего редутом. Эти храмы возвращены в свое первоначальное, барочное состояние.

Этой темой я продолжаю заниматься после чтения книги Кирилла Сокола и Александры Сосны «Русская Варшава» (М., 2002), где снос этих церквей изображен как проявление варварства поляков, которые разрушали такие замечательные постройки. Только следует помнить, что большинство этих церквей не имело никакой ценности как памятники истории или произведение искусства; в 1918 г., когда их разбирали, им часто было не больше нескольких десятков лет, как собору на Саской площади.

Разумеется, некоторых храмов жаль, они были интересны. Любопытным объектом была, например, войсковая церковь на площади На Роздрожу (На Перекрестке), в какой-то степени выстроенная по образцу собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве, но это были исключения. Зато в ответ на

обвинения Сокола, который говорит, что собор на Саской площади был полон произведений искусства, нужно сказать, что, например, мозаик не уничтожили, а демонтировали, и некоторые из них находятся в церкви св. Марии Магдалины, а большинство — в одной из церквей в Барановичах, в Белоруссии.

Надо, впрочем, прибавить, что и в польском обществе после I Мировой войны шли очень оживленные споры, не перестроить ли попросту собор на нужды польской армии, но в конце концов перевесила неприязнь к нему. Сегодня повторяются те же споры вокруг Дворца культуры и науки, пресловутого «подарка» Сталина Варшаве. Это ровно то же самое, с чем имели дело наш деды и прадеды. В начале 1920-х споры вокруг собора были очень острыми, так что нет сомнения, что угрызения совести мы испытывали.

Беседу вел Пшемислав Делес

СОЛИДАРНОСТЬ С «СОЛИДАРНОСТЬЮ»

«Секрет польской оппозиции состоял в том, — сказал британский историк Тимоти Гартон Эш, — что люди, совершенно друг с другом несогласные в сфере идеологии или утопии, пришли к согласию в стратегии, в деятельности. (...) Поддерживая польскую оппозицию, я сотрудничал с людьми, с которыми по другим вопросам был бы совершенно не согласен. С крайними консерваторами, например Роджером Скратоном, с троцкистами, с людьми из пацифистских движений. У нас там в определенном смысле был свой собственный опыт «Солидарности»».

Даже в Польше мало знают о том, что происходило в мире после того, как возникла, а затем была загнана в подполье режимом генерала Ярузельского «Солидарность» — первое после II Мировой войны независимое массовое профсоюзное движение в так называемом социалистическом лагере. А уж эти слова об «опыте «Солидарности»», должно быть, вызывают удивление. Тимоти Гартон Эш, знаток Центральной и Восточной Европы, автор получивших широкую известность книг о революции «Солидарности» 1980 го и «гражданской весне» 1989 го, совершенно прав.

Солидарность с оппозицией 1970 х

Время от августовских забастовок 1980 г. и создания «Солидарности», а затем годы военного положения вплоть до соглашений «круглого стола» 1989 г. — это апогей интереса международной общественности к польским делам и ее участия в них. Но этому предшествовал, хотя и не такой масштабный, интерес к доавгустовской оппозиции, главным образом к Комитету защиты рабочих (КОР), созданному после рабочих демонстраций 1976 г. в Радоме и Урсусе. Особенно важным был отклик профсоюзных движений и левых партий — социал-демократов и даже компартий, точнее — итальянских и испанских еврокоммунистов, которые тогда начали отходить от линии, навязанной им КПСС.

Сразу после создания КОР его поддержала социал-демократическая Норвежская конфедерация профсоюзов (НКП), а в 1978 г. — Федерация голландских профсоюзов.

Комитет получил также поддержку шведских и датских социал-демократов и был с ними в контакте. Неоднократно выступала в защиту репрессированных поляков «Международная амнистия».

За интерес к Польше им приходилось расплачиваться. Особенно это касалось журналистов, которые приезжали к нам, чтобы встретиться с деятелями оппозиции. Громким эхом отозвался арест французского журналиста Филиппа Риэса в декабре 1978 г. — ему предъявили обвинения, грозившие тюремным сроком до 8 лет. В защиту журналиста выступили десятки французских общественных, политических и профсоюзных организаций, в том числе французская компартия (просоветской ориентации!) и некоторые секции коммунистического профобъединения ВКТ (Всеобщая конфедерация труда), съезд крупного профобъединения «Форс увриер», Союз французских журналистов и множество рядовых французов (в посольство ПНР поступило 15 тыс. телеграмм).

Еще более суровое наказание грозило шведскому гражданину Гуннару Лаквисту, задержанному 11 декабря 1979 г. во время пересечения польской границы с множительным аппаратом для польских подпольных издательств. После протестов КОРа и заграницы швед был наказан лишь штрафом и 29 января 1980 го выслан из Польши.

Стоит вспомнить и другую важную форму помощи — финансовую поддержку польских независимых организаций. Наряду с польскими эмигрантскими кругами активны в этом были и граждане свободного мира, прежде всего интеллигенция. Они учредили международный комитет «Призыв в поддержку польских рабочих», среди основателей которого были, в частности, Дэниэл Белл, Пьер Эммануэль, Голо Манн, Айрис Мёрдок, Дени де Ружмон, Игнацио Силоне. Некоторые писатели передавали КОРу гонорары за польские переводы их книг. Так поступили, в частности, Сол Беллоу, Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс и Макс Фриш.

Август и после августа

Интерес к Польше и польской оппозиции усилился, когда начались августовские забастовки 1980 г. на Балтийском побережье. Журналисты всего мира старались добраться до бастующей Гданьской судоверфи им. Ленина (где заседал Межзаводской забастовочный комитет. — Ред.) и написать о рабочих, восставших против коммунистической власти. Тогда же на гданьскую верфь прибыли первые профсоюзные делегации из западных стран. Приезжали они нелегально, чаще

всего по стихийному порыву, как в известном лично мне случае с делегацией норвежских профсоюзов из Осло, входивших в самую крупную в стране Норвежскую конфедерацию профсоюзов (НКП). Они приехали на бастующую верфь накануне подписания Гданьского соглашения и по просьбе Леха Валенсы, вернувшись в Норвегию, организовали акцию «Отдай час работы Польше» — в пользу создававшегося тогда в Польше независимого от властей профсоюза. Они собрали несколько сот тысяч крон на закупку типографского оборудования для профсоюзной печати. Спустя несколько месяцев эта акция породила организацию «Solidaritet Norge — Polen» («Норвежско-польская солидарность»), которая поддерживала «Солидарность» и особенно активно действовала после введения в Польше военного положения.

Так было и в других странах. С «Солидарностью» устанавливали контакты профсоюзы, оказывая организационную и материальную помощь. Начали создаваться комитеты, поставившие себе задачей поддержать польский независимый профсоюз и распространять информацию о нем, — как в Японии, где в 1981 г. были созданы организация, поддерживавшая «Солидарность», и журнал «Порандо геппо» («Польский бюллетень»). Японские профсоюзы тоже быстро связались с «Солидарностью», в результате чего в Японии в мае 1981 г. побывала делегация польских профсоюзных активистов во главе с Лехом Валенсой. Следует добавить, что японцы еще раньше поддерживали польскую оппозицию. В частности, доставленные ими в Польшу полиграфические материалы очень помогли в развертывании независимого издательского движения 1970 х.

Против военного положения

15 декабря 1981 г. Мария Оберцова записала в своем дневнике, как выглядела столица Индии через два дня после введения в Польше военного положения: «На стенах — огромные надписи и рисованные плакаты, на них по-английски и на хинди: „Советские империалисты, руки прочь от Польши!!!». На всех возможных стенах, на растяжках между зданиями — огромные портреты Валенсы с надписью: „Человек года!» Рядом — Ярузельский в черных очках, и подпись: „Надвигается тьма» (...). ...весь город живет польскими делами!»

И во многих других странах Польша не только попала на первые полосы газет и в главные сообщения радио- и теленовостей, но и стала темой политических высказываний и заявлений (в частности, США и некоторые страны НАТО наложили на правительство ПНР, а затем и СССР экономические санкции), а

главное — лозунгом, который собирал многотысячные демонстрации и митинги, прокатившиеся почти по всем континентам в защиту «Солидарности» и свободы поляков.

Первые стихийные протесты прошли прямо 13 декабря, то есть в первый день действовавшего в Польше с полуночи военного положения. Протестовали в Стокгольме, где в семь часов вечера на демонстрацию вышло более пяти тысяч шведов, хотя стоял трескучий мороз. То же самое — в Осло, где у здания посольства ПНР собралось несколько сот человек. Стихийный характер носили в тот день и протесты перед посольствами ПНР в Лондоне и Париже, где демонстрировали многие тысячи людей. Следующий день, 14 декабря, был объявлен Днем «Солидарности», и в парижской демонстрации, проходившей по призыву Французской демократической конфедерации труда (ФДКТ), к которой присоединились «Форс увриер», Французская конфедерация христианских трудящихся (ФКХТ), Всеобщая конфедерация кадров и Федерация национального образования, приняли участие сто тысяч человек. В ней участвовали даже некоторые члены руководства прокоммунистической ВКТ, нарушившие таким образом свой собственный запрет на поддержку «Солидарности». Митинги и демонстрации проходили в этот день еще в 128 городах Франции. А спустя неделю все французские рабочие по призыву профсоюзов (кроме ВКТ) участвовали в часовой забастовке в знак солидарности с польскими рабочими. В тот же день в лондонском Гайд-парке состоялась многотысячная демонстрация, поддержанная профсоюзами, входившими в Конгресс тред-юнионов.

В последующие дни прошли демонстрации протеста в разных городах Норвегии, в том числе 17 декабря — в Осло и Трондхейме под лозунгами «Свободу „Солидарности“» и «Советы, руки прочь от Польши», а 22 декабря по всей Норвегии прошла всеобщая пятиминутная акция протеста по призыву НКП. Добавим, что на следующий день прошла демонстрация в самом северном городе мира: в насчитывающем около двух тысяч жителей и расположенном за Полярным кругом норвежском городе Киркенесе при 20 градусном морозе на демонстрацию вышли несколько сот горожан, причем демонстрацию поддержали все политические партии, кроме коммунистов, 2 профсоюза и городские власти.

Массовый характер носили акции протеста в Лиме, столице Перу. 20 декабря месса, на которую собралось несколько тысяч человек, транслировалась в прямом эфире по трем главным телеканалам. Созданный тогда Комитет защиты

«Солидарности», который возглавили всемирно известный писатель Марио Варгас Льюса и профсоюзный лидер Луис Песара, а поддержали все профсоюзы, за исключением промосковских коммунистов, объявил 28 декабря Днем солидарности с Польшей в Латинской Америке. В этот день в Лиме состоялся марш под лозунгом «Solidaridad con „Solidarność»», в котором участвовало более десяти тысяч человек.

Сложно подсчитать все демонстрации, митинги, марши, собрания, манифестации, прошедшие по всему миру в первые недели военного положения. Но некоторые из них стоит отметить: 14 декабря — в Вене, 15 декабря — во Франкфурте-на-Майне, 17 декабря — в Бангкоке, 25 декабря — в Ватикане, 27 декабря — в Чикаго.

Самые крупные демонстрации проходили 30 января 1982 г., в день, который по призыву Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП) был объявлен Днем солидарности с Польшей. В них приняли участие многие тысячи людей по всему миру (в частности, в Токио), а в 50 государствах был показан полтора часовая фильм «Чтобы Польша была Польшей» (строка из песни Станислава Петшака. — Ред.), снятый по инициативе президента США Рональда Рейгана с участием 14 лидеров западных государств, в том числе президента Франции, канцлера Германии, премьер-министра Норвегии, а также многих известных деятелей искусства (среди них были Генри Фонда, Кирк Дуглас, Орсон Уэллс, Фрэнк Синатра).

В те дни во время стихийно организованного сбора средств в помощь «Солидарности» была собрана сумма, превзошедшая всякие ожидания организаторов. Например, в Японии было собрано около 200 тыс. долларов, а в Норвегии за один день 24 декабря, в рождественский сочельник, сбор денег, организованный перед храмами, принес свыше миллиона крон. Во Франции за несколько первых месяцев было собрано около миллиона долларов.

Важна была также реакция правительств и политиков. Не везде в одинаковой степени проявлялось желание включаться в защиту «Солидарности», осуждать военное положение, власти ПНР и стоявшие за всем этим власти СССР. Радикальнее всех были американцы, японцы, норвежцы, шведы, но и французы после некоторых колебаний заняли решительную позицию. И что бы ни твердила пропаганда Военного совета национального спасения (марионеточного органа, созданного властями ПНР. — Ред.), но поляки восприняли западные экономические

санкции как проявление солидарности с ними и средство нажима на правительство ПНР.

Солидарность с «Солидарностью»

Поддержка десятков профобъединений и созданных по всему миру комитетов, оказываемая вынужденной уйти в подполье «Солидарности», ощущалась постоянно. Здесь особенно следует подчеркнуть роль МКСП (социал-демократической) и Всемирной конфедерации труда (христианской), которые неустанно добивались восстановления профсоюзных свобод в Польше и запретили входившим в эти конфедерации профсоюзам любые контакты с так называемыми неопрофсоюзами, создававшимися по инициативе властей, а также оказывали финансовую помощь «Солидарности» через действовавшее в Брюсселе Заграничное бюро «Солидарности» (финансировавшееся за их счет). Любопытно, что в 1986 г. «Солидарность» была одновременно принята в обе конфедерации — это был первый такого рода случай в истории.

Столь же постоянно поддерживали «Солидарность» и национальные профобъединения, такие как «Форс увриер», ФДКТ, ФКХТ во Франции, Центральное объединение профсоюзов Швеции, Всеобщая итальянская конфедерация труда и даже коммунистическая Итальянская конфедерация профсоюзов трудящихся. Американское профобъединение АФТ — КПП ежегодно выделяло несколько тысяч долларов на оказание помощи репрессированным профсоюзным активистам, на закупку полиграфического оборудования для подпольных издательств, наконец, постоянно информировало общественность и оказывало натиск на политиков, чтобы они не забывали о праве поляков на свободу.

Тогда-то подпольная «Солидарность» сотнями нитей оказалась связана со всеми организациями, комитетами и отдельными людьми, добивавшимся восстановления ее легальной деятельности. Это принесло свои плоды в виде тесного сотрудничества региональных организаций «Солидарности» с профобъединениями на Западе (например, Малопольша заключила договоры с ФКХТ, Мазовия, Западное Поморье и Малопольша — с ФДКТ, а Гданьск и Западное Поморье — с «Форс увриер»), которые оказывали ей помощь, например устраивали летние лагеря для детей из семей репрессированных, находили работу для оставшихся без работы активистов «Солидарности», брали под опеку — материальную и информационную — политзаключенных. Сотрудничали друг с другом и профсоюзные звенья низшего уровня — например, подпольная заводская комиссия «Солидарности» Гданьского порта

получала помощь от норвежских транспортников и голландских докеров. Такую же поддержку оказывали и многочисленные непрофсоюзные организации солидарности с Польшей. Так, в частности, работала «Норвежско-польская солидарность», которая не только материально поддерживала польскую оппозицию, но и оказывала давление на норвежских политиков. Так же действовал и японский Центр польской информации, который, кроме того, что издавал журнал, посвященный Польше и осуществлял широкомасштабную информационную деятельность, участвовал в работе специальной межпартийной группы при парламенте, занимавшейся польскими вопросами, и собрал солидную библиотеку польских подпольных изданий.

Важна была и символика. Именем Леха Валенсы или «Солидарности» были названы улицы многих городов мира: так, в Ницце и Рони-су-Буа под Парижем появились улицы Леха Валенсы. Знаком памяти стала также акция индийского профобъединения, входящего в МКСП и ставшего организатором, пожалуй, крупнейших в мире, демонстраций в поддержку «Солидарности», насчитывавших до нескольких сот тысяч участников. В каждом помещении профсоюзов в Индии был повешен портрет Леха Валенсы. Или любопытная акция молодых французских физиков, которые в марте 1982 г. с датского острова Борнхольм запустили множество воздушных шаров с листовками и брошюрами «Солидарности». Шары долетели до Польши. «Трибуна люду», орган ЦК ПОРП, грозила датчанам какими-то не уточненными исками за причиненный шарами ущерб. Северин Блюмштайн, член парижского комитета «Солидарности», говорит, что акция удалась: «Эти идиоты не только палили по шарикам из пушек, но даже показали их по телевидению».

Когда вспоминаешь о солидарности с «Солидарностью», нельзя не сказать о тех гражданах свободного мира, которые, помогая польскому подполью, рисковали своей свободой. Это были журналисты, которые приезжали в Польшу за рулем грузовиков с благотворительной помощью. А были и такие профсоюзные деятели, как Жан Борнар, председатель ФКХТ, который в 1983 г. приехал в Польшу, тайно встретился с подпольным руководством «Солидарности», а затем передал свои соображения Международной организации труда, изучавшей вопрос о нарушении профсоюзных свобод в ПНР.

Были и такие политики, которым за помощь польской оппозиции пришлось поплатиться своей репутацией. Так было, например, с многолетним премьер-министром Италии,

социалистом Беттино Кракси, которого боровшиеся с ним коммунисты обвинили в том, что он имеет тайный счет в Швейцарии, якобы служивший нелегальному финансированию его партии. Лишь в 1992 г. Кракси объявил, что так называемый Фонд Кракси служил не его личным или партийным интересам — деньги с него шли на поддержку чешского эмигрантского журнала «Листы» и польской «Солидарности».

Однако прежде всего следует помнить о тех, кто за свою помощь «Солидарности» был в Польше арестован и сидел в тюрьме, как, например, бельгиец Роже Ноэль, который был арестован в 1982 г., когда доставлял передатчик для подпольного радио «Солидарность», или француз Жаки Шалло, который в 1984 г. был схвачен, когда провозил в Польшу множительную технику (это был его восьмой рейс с «подарками» для польского подполья) и на восемь месяцев попал за решетку, или, например, шведский шофер Ленарт Ерн, который попался в 1986 г. с восемью тоннами типографского оборудования, нелегальных изданий и деталей к передатчикам для подпольных радиостанций (приговорен к двум годам, отсидел полгода), или норвежский водитель Даг Аадхаль, которого арестовали вместе с машиной, набитой эмигрантскими изданиями (это был его 24-й рейс в Польшу).

В 1989 г., когда «Солидарность» после переговоров «круглого стола» готовилась к парламентским выборам, друзья поддерживали ее снова. На предвыборные митинги в Польшу приехал всемирно известный французский актер Ив Монтан, а на предвыборных плакатах с символикой «Солидарности» ее кандидатов поддерживали такие звезды, как Настасья Кински, Грейс Джонс и Джейн Фонда.

Друзья познаются в беде

Одна норвежская знакомая рассказала мне историю Енни Андерсен, которая зимой 1982 г. связала на спицах целый мешок теплых носков для детей и обратилась в норвежский «Каритас», католическую благотворительную организацию, с просьбой передать их многодетным семьям в Польше. Это один из множества примеров бескорыстной помощи тех, кто не мог равнодушно смотреть на то, что творится в Польше. И такие истории можно рассказывать тысячами.

В оказание благотворительной помощи (лекарства, медицинское оборудование, одежда, средства гигиены, продовольствие) включались частные лица, деревни, города, профсоюзные ячейки, создававшиеся ради этой цели комитеты

и крупные организации вроде вышеупомянутого норвежского «Каритаса».

Участвовали в этом профсоюзы и объединения журналистов, крестьян, писателей, помогали художники, передавая средства от продажи своих картин польским коллегам, бойкотировавшим официальную культурную жизнь в Польше. Так действовало организованное в Западной Германии во время военного положения общество «Сирена»: чтобы помочь польским художникам, оно нелегально вывозило из Польши их картины и, продав их, передавало выручку авторам. Огромный размах приобрела проведенная норвежцами в 1988 г. акция «Корабль дружбы», на котором (это был паром «Болетт») в Польшу были доставлены дары на сумму около 2 млн. долларов, собранные двадцатью с лишним благотворительными организациями. Одним из участников акции был перуанский лауреат Нобелевской премии мира Хосе Перес Эскивель.

Особенно много благотворительной помощи поступало в Польшу из Германии. Помощь шла от отдельных семей, деревень, приходов, городков, буквально засыпавших Польшу посылками с продовольствием, лекарствами и средствами гигиены. В первое «военное» Рождество, в декабре 1981 г., немцы прислали польским семьям два миллиона посылок. Однако немцы (а также австрийцы, итальянцы, шведы, норвежцы) не ограничивались отправкой посылок — нередко первые их контакты с поляками получали продолжение в виде переписки, а потом личных встреч и дружбы, продолжающейся по сей день.

Помощь «братских стран»

26 декабря 1981 г. МВД и КГБ СССР передали товарищам из «голодающего» польского МВД, занятым удушением свободы в Польше, милиционерам и сотрудникам ГБ, 6200 кг продовольствия, 6760 бутылок алкогольных напитков и 445 блоков сигарет. А командование советских войск в Легнице передало нечто весьма необходимое для «работы» — 12 тысяч упаковок парализующего газа «Черемуха». Подобные дары поступили и из «братской» ГДР. Все радовались, что «контрреволюция» в Польше подавлена.

Все, да не совсем.

Особенно важны были голоса немногочисленных праведников, которые доносились из государств, тоже называвшихся социалистическими, и которые были услышаны в Польше. Лишь недавно мы узнали о том, что произошло с румыном

Юлиусом Филипом. За приветствие, направленное I Съезду «Солидарности» в 1981 г., он провел в румынских тюрьмах пять с половиной лет. О том, как расплачивались в России за поддержку стремления поляков к независимости, писал в 1984 г. в парижской «Культуре» русский публицист Михаил Геллер, упоминая инженера Разгладника, приговоренного к 7 годам лагерей за то, что «собирал высказывания сторонников „Солидарности“», и Вадима Янкова из Москвы, получившего 4 года лагерей и 3 года ссылки за «Письмо к рабочим России в связи с событиями в Польше».

Несколько лет тому назад я узнал о русских из Риги, которые после того, как было объявлено военное положение, развернули (самостоятельно) акцию помощи полякам, посылая в Польшу продовольственные посылки. Это были Валерий Сулимов, отправленный на принудительное психиатрическое лечение за отказ участвовать во вторжении в Чехословакию в 1968 г., его жена Лилия и их подруга Клавдия Ротманова. Сулимов перевел и распространял «21 требование» Межзаводского забастовочного комитета (август 1980) и «Послание трудящимся Восточной Европы», принятое I Съездом «Солидарности» в Гданьске осенью 1981 года.

Нельзя забывать и о том, что тема Польши постоянно присутствовала в передачах западных радиостанций, вещавших по-русски, и в русской эмигрантской печати, прежде всего в парижской «Русской мысли», а также об участии русских эмигрантов в акциях в поддержку «Солидарности» и Польши.

* * *

Известный французский актер Мишель Пикколи в 1983 г. сказал, что «Солидарность» была великим событием не только для поляков: «Для многих кругов во Франции и для меня лично (...) это прежде всего изумительный, неслыханный, вызывающий зависть феномен взаимодействия рабочих и интеллигенции».

Поэтому в помощи «Солидарности» в Норвегии сотрудничали маоисты с консерваторами, во Франции — троцкисты с христианскими профсоюзниками, в Англии — левая и консервативная интеллигенция.

Норвежский шансонье Ерн Симон Эверли так объясняет свое участие в помощи Польше: «Обычно (...) поддержку оказывают либо правые, либо левые, а „Солидарность» это переломила, получив поддержку и слева, и справа. Почему норвежцы так

активно во всё это включились? Не знаю, как другие, а я люблю делать то, что меня самого перерастает, — вот это и было как раз то самое».

«Я никогда не жалел, что пошел на такой риск. Я чувствовал, что есть во всем этом нечто важное», — говорит Жаки Шалло, несмотря на те месяцы, которые он просидел в тюрьме за помощь Польше.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Герострат

Есть она и в Софии, есть она и в Вашингтоне,
От пирамид Египта и до снегов Тобольска
На тысячи вёрст раскинулась наша земля польская,
Попугай всех народов — в терновой короне.
Увечная, как госпитальный солдат без ноги, без руки,
Который вечно в слезах будет бродить по свету, —
Такой наша Польша вышла из управы повета
И такой повлеклась на каторгу — в рудники.
Девушка, позабывшая о материнской тревоге,
Наследница незаконная того, что добыто детьми,
Светлячок святоянский, в ночи осветивший мир...
Памятью о былом богатстве живёт, убогая.
А сегодня она в холодной осенней песне,
В шелесте ржавых листьев, летящих с каштанов,
Мне показалась скелетами из-под всех курганов,
Прахом, который ждёт, что во плоти воскреснет.
О! Разружьте же королевские Лазенки в Варшаве,
Бездушным резцом исцарапанную мраморную
фактуру,
Разбейте вдребезги все эти гипсовые фигуры,
Цереру с ее колосьями утопите в канаве.
Видишь колонны на острове, в театре-колодце?

Они навсегда закрыли мне вид на далекий край.
Приказываю тебе! Все эти столбы посшибай —
Бей, покуда не рухнут, пока их след не сотрется.
Если Кишинского встретишь где-нибудь в городе
старом
И он на тебя уставит глазищи свои зеленые,
Ты его лучше убей! — А труп оттащи в сторону —
Весть об этом мне будет самым радостным даром.
Не хочу ничего другого — пусть только ветер в обиде
Осенней музыкой плачет в полунагих стебельках,
А летом солнце пускай отражается в мотыльках.
Мне бы весной — весну, а не Польшу увидеть.
Ночью спать не могу, днем кое-как держусь,
И тревожная мысль сердце гложет сомнением:
Я бы хотел увидеть, когда прошлое станет тенью —
Всё ли в прах сокрушится, или... Польшу я разбужу.

1
9
1
7

Разговор с ветераном

С шестидесятих лет седым почтенным ветераном
Люблю потолковать порой перед закатом солнца,
Когда под светом лампы день, мерцая, расплывется
И громче тикают часы в своем ларце стеклянном.
Всё для меня напоено блаженством сладкой лени:
В его каморке на виду подушек белых груды,
Мурлычет тихо серый кот, мне юркнув на колени,

Фарфоровых фигурок строй готов к свершенью чуда.
Мой ветеран мне говорит, что очень ноют раны,
Что в битве был он сбит с коня, исколотый штыками,
И, точно мглой, глаза его заволоклись слезами;
Но знаю: он во время битвы спал в трактире, пьяный.
И радуюсь, что если в нем проснется вдруг сомнение
В тех чудесах, что якобы творю я каждый день,
Он разрешит мне на своем плече излить смятение,
А завтра мы опять сыграем с ним в больших людей.
И вот мы снова за столом, скатёркою одетым.
Всё так же тикают часы в своем ларце стеклянном.
И чувствуем себя: старик — взыгрававшим уланом,
А я, убогий, глупый лжец — доподлинным поэтом.

1
9
2
0

Ноктюрн

Что я? Всего лишь лист, сорванный с дерева ветром.
Что я ни делал — всё было писано на воде.
Лист я, упавший с дерева в далёкой аллее где-то,
Ветер несет меня по саду, луна везде...
Всё, что мне теперь нужно: вас, ветры яростные!
Неси меня, вихрь холодный, не спрашивая, зачем,
Туда, где старые тропки и позабытые заросли,
Которые я узнаю и вспомню в любую темень.
Пусть в последнем запахе лета, в осени дуновенье
Упаду я под ветхое, покосившееся крыльцо —

Лишь бы увидеть, как прежде, сияющее лицо,
А не только задумчивые, склонённые тени.
Угомони, ночь серебряная, певучую землю безмерную!
А я упаду в росистые травы скошенным колосом
Или буду тихо ласкать золотые когда-то волосы,
Цвета которых и мне теперь не узнать, наверно.

1
9
2
4

Волосы Словацкого

В резиновых перчатках, как трупьи — руками,
Профессор сыпал дробь в пустые глазницы —
Чтоб польза и для школы могла получиться,
Стремясь тебя измерить земными делами.
И вот гребут лопатой в гроб из эбена твой
Земли французской комья — пепел и дым,
Лишь локон над высоким челом костяным —
Всё тот же, что сиял над живой головой.
На этот локон смотрим, стоим молчаливо,
Тебя мы, как при жизни, отогреть не умеем.
Вернулся ты, куда хотел. Берем тебя, бледнея,
И понимаем: смерти нет, а есть справедливость.
И этот гроб в цветах, и это странствие сквозь
Трезвон колоколов, и свет, что храм озарил,
В чахотке угасая, сам ты предвосхитил.
Державы пали в прах, чтобы это сбылось.

1
9
2
9

Театр на Острове

Если что-то осталось ещё от твоих развалин
В этом городе, снова ставшем сплошной руиной,
Если в суровой и грозной славе ты, хоть печален,
Ноябрьской ночью стоишь на острове неколебимо,
Если древних богов дни эти не испугали,
Если Ники, дрожа, крыльев своих не сложили
И не убоился Арес поднебесных страшилищ,
А Деметра и Кора ниц пред врагом не пали,
Если так, то я знаю, что сейчас у тебя на сцене:
Вижу зарево и воздетых рук миллионы,
Слышу рядом с Афиной мощного хора пенье:
«Да будут прокляты те, кто Польше не дал обороны!»

1
9
4
4

Тост

Нет ничего кроме листьев на ветках мёртвых,
Нет ничего кроме вихря, что где-то гудит,
Кроме следов величия, которые уже стёрты.
И ничего не будет. Всё давно позади.
Есть еще только месяц, он тихо стекает
По черному крепу ночи, заливая его серебром,
Как брильянт-балдахин, что покрывает гроб,

В котором земля уснула, навеки умаявшись.
Так поднимем же кубки и выпьем на тризне,
Ибо скорбеть смешно, а жалобой не помочь.
Пусть нас, мертвецки спокойных, поглотит темная
ночь,
Пусть на молчащих песок из-под заступа брызнет.
Ах, сколько успокоенья в этих словах: так надо!
Как нам — земли, так и ей, земле, нужны наши кости.
И мы, безумцы, когда-нибудь взойдём прозрений
колосьями,
Насущным чёрным хлебом для всех, кому хлеб —
награда.

1
9
4
5

Небо

Мне нынче снилось небо: я сразу его узнал
По запаху клевера и пению жаворонка.
Луг волновался, в траве трещали кузнечики звонко.
Я знаю: там был Господь, хоть я его не видал.
И ангелов я не видел, только над целиной
Аисты с шумом крылья белые подымали,
И колыхались буки и яворы предо мной,
И на ветру они, словно орган, играли.
Потом серебряный месяц, будто светляк гигантский,
Осветил руины Акрополя: в небе парили музы,
А высоко над ними стоял Павел Коханский
И в божественной тишине играл «Родник. Аретузы»

Ян Казимир

Непорочной Деве слава!

Больше я не верю

Ни в гусарские оравы,

Ни в павлиньи перья.

Для меня ничто все латы,

Войско и оружие,

Ленты, жемчуга и золото —

Ничего не нужно.

Пал крестом я, и восплакал,

И отдал корону,

Пояс слуцкий препоясал

Изнанкой багровой.

1951

ДРАМА ЖИЗНИ И ДРАМА СМЕРТИ ЯНА ЛЕХОНЯ

Никого из нас не было при этом сальто-мортале пятьдесят лет назад. Тогда известие о смерти поэта прокатилось страшным эхом по всей польской диаспоре. Намного раньше, еще до обретения Польшей независимости, Антоний Слонимский увековечил знаменитый вечер юных скамандритов в варшавском кафе «Под Пикадором», где собралась вся столичная элита. Дрожащий, бледный, «в поношенном костюмчике с жакетом», семнадцатилетний Лехонь электризовал публику своим первым поэтическим выступлением: «И шумели крылья муз в маленьком кафе, / Когда Лехонь держал стихи в дрожащей руке» (пер. дословный).

После того как Лехонь прочел «Мохнацкого», «разразилась первая в Польше буря аплодисментов в честь поэзии. Люди ощутили, что здесь разбился кувшин с поэзией и из него пойдет „дым по всей литературе“». Таким его запомнил молодой Юлиан Тувим.

После той исторической минуты скамандриты провели вместе десять лет с перерывами на сон, писание стихов и взаимное злоязычие. Лехонь тогда чувствовал, что литературные друзья ему ближе братьев и сестер. Неслучайно писал Чеслав Милош: «Такой плеяды не было вовеки». То были годы шумных эскапад, кабаре, театров, годы их царствования в кофейне «Земянской», обедов в знаменитых ресторациях Симона и Лангнера, блужданий по городу до поздней ночи. Лехонь был любимцем буржуазных и аристократических салонов, он бывал везде. И сам созывал сливки общества и богему на большие приемы в своей скромной квартирке неподалеку от Рыночной площади, где дворник в белых перчатках разносил напитки, а уборной не было, только клозет во дворе.

Однако за этим фасадом крылось отчаяние. Лехонь сам признался, что писал тогда в отчаянии, «дописался до безнадежной печали, меня тогда не было — был только дрожащий медиум, писавший под диктовку таинственных, гнетущих его сил» («Дневник», 8.VIII.1951). «И как раз тогда, без видимой причины», сообщает Слонимский, Лехонь попытался покончить с собой. Слонимский был рядом, когда Лехонь,

спасенный после огромной дозы веронала, очнулся на больничной койке.

Направленный на дипломатический пост в Париж, он прижился в этих светских и литературных джунглях. А поскольку у него был блестящий дар красноречия, он сумел заинтересовать собой и расположить к себе всех, кого хотел расположить. Снискал симпатии архиинтеллектуала Поля Валери и архикатолика Поля Клоделя. «В Лешеке несомненно есть что-то гениальное, — утверждала впоследствии Алиция де Барча, с юности дружившая со всеми скамандритами, — но ему следовало родиться на шестьдесят лет раньше французом».

И неважно, был ли он в покривившихся очках и студенческой фуражке, в потрепанном пальтишке или мешковатых брюках, — первая встреча с ним запоминалась навсегда. Когда Тимон Терлецкий познакомился с ним на авеню де Токио, Лехонь «размахивал длиннющими, паучьи тонкими конечностями и, похожий на куклу Панча, пел высоким фальцетом, сквозь который то и дело прорывался сатанинский хохот, свою коронную, ошеломляющую арию». Во время этой встречи скульптор Франсуа Блэк заметил, что у Лехоня два совершенно разных профиля, два силуэта, которые могли бы принадлежать двум разным людям.

После сентября 1939-го Лехонь принимал на берегах Сены своих друзей-беженцев: Казимежа Вежинского, Тувима, Слонимского, Юзефа Виттлина, Зигмунта Новаковского, Станислава Балинского, Марию Кунцевич, Стефанию Загорскую. Он собрал их в рождественский сочельник. Кунцевич писала потом, как Лехонь «ни единым жестом, ни словом, ни выражением лица не показал, что принимает нас на тризне, прощаясь с уходящим миром». Больше эти люди уже никогда не встречались все вместе. Слишком многое их потом разделило.

Еще в военном Париже Лехонь участвовал в организации Польского университета в изгнании. Терлецкий напоминает, что он «сразу впрягся в работу — срочную и рассчитанную на далекую перспективу, более далекую, чем в тот момент можно было предполагать». В своей первой лекции поэт-преподаватель «матовым, тусклым, словно задыхающимся голосом, в долгих риторических периодах свидетельствовал, что дух польской литературы всегда, в самые тяжелые времена, неколебимо стоял на страже, пылал живым огнем и светил путеводным светом».

Определения характера Яна Лехоня похожи на судебные приговоры. Он был невозможен, невыносим. Эгоцентричен, адски завистлив, себялюбив. Язвительный, колкий, остроумный «на самый желчный манер, он никому не спускал, смешивал с грязью всех, яд так и лился из него». «Он был дьявольски капризен, в нем не было ничего непосредственного, ангельского, простого». К тому же еще привередливый и неблагодарный любитель пожить за чужой счет. Но до чего обаятельный. Память у него была невероятная, буквально бездонная. И этой памятью он умел оживить целые миры, ныне пропавшие без следа.

Больной, без гроша в кармане, измученный невзгодами, Лехонь годами жил на грани голода, холода, нищеты. И мыкая горе — тяжело работал. По его инициативе в Нью-Йорке возникла новая газета — «Тыгодник польский», к сотрудничеству он привлек лучшие имена. Каждую неделю, с трудом преодолевая себя, он писал передовицу.

Лехонь — по мнению Терлецкого, эмигрант «по литературному вдохновению, по лирическому рефлексу, лирическому порыву» — был еще и страстным, ангажированным публицистом, издавал еженедельник насквозь политический, сравнимый с «Польским пилигримом», журналом, который в первые годы изгнания выпускал в Париже Мицкевич. Эмигрантские заслуги Лехоня неоспоримы.

Непримиримый антикоммунист, он не мог простить Милошу, что тот делал карьеру в годы, когда в Польше непокорных истязали. Но во время записи в Нью-Йорке передачи по случаю безвременной кончины Юлиана Тувима Лехонь, как записал Виттлин, «умевший быть порой таким невыносимым, несправедливым и мелочным, на сей раз был мягок, полон христианской потребности прощать — и глубокого преклонения перед всем, что в Тувиме величественно, прекрасно и неповторимо».

Не только у Тувима дружба с Лехонем складывалась трудно. Испытанный и преданный, политически более близкий ему Казимеж Вежинский жаловался: «Мой друг — очень, очень больной человек, я сам время от времени проваливаюсь в его темноту и теряюсь в ней». И далее: «Хотя он часто отвратителен мне как человек, он здесь единственный поляк, с которым можно поговорить». «Кто у нас в эмиграции мыслит? — спрашивал Вежинский. — (...) Еще Лехонь, страшный консерватор, — а кто еще? Может, я забыл».

По мнению Вежинского, в его друге бушевала подсознательная злость подстать героям Достоевского. В «Дневнике» Лехонь писал, что он одержим темными силами: «...разные демоны воют во мне в надежде разгуляться». Временами на него «нападало чернейшее отчаяние и усталость, рождавшие черную скуку», он то и дело переживал то «ужасный день», то «безнадежную ночь». И будто бы часто говорил о самоубийстве. Наконец, впервые за долгие годы, он пошел к исповеди. И, видимо, в тот же самый день, 29 мая 1956 г., позвонил Виттлинам «в необычный для него час». А десять дней спустя выбросился из окна.

После его смерти Витольд Гомбрович, который годами вызывал поэтов на не слишком поэтические поединки, дотошно расспрашивал Виттлина о причинах самоубийства — не на почве ли гомосексуализма? К роковому прыжку привело много причин, их уже никто никогда не выяснит до конца. Установлено, что в день смерти на банковском счету Лехоня был всего один доллар. Но его всегда угнетали демоны истерической депрессии, опухоль самоубийства разрасталась на податливом грунте давних психических осложнений. Его кошмары и отчаяние словно свидетельствуют, что он ненавидел самого себя, не мог принять себя таким, каким был. То, что называли его «комплексом неполноценности перед Мицкевичем», связано с комплексом импотенции — бесплодности — творческого истощения.

Алиция де Барча комментировала самоубийство Лехоня так: «Кроме всего прочего, его затравили. Его преследовали как педика, ибо здесь, в Америке, быть педрилой или коммунистом — одно и то же». В годы маккартизма инаковость считалась преступлением и подгонялась под статью уголовного кодекса. Драма смерти Яна Лехоня была predetermined драмой его жизни, настолько запутанной, что распутаться она могла только в смерти. За свою инаковость он заплатил высочайшую цену, притом двойную — и жизнью, и самым тяжким грехом.

После смерти поэта посыпались воспоминания друзей. У Юзефа Виттлина был рефлекс — звонить Лехоню. В прекрасном эссе-воспоминании он призывал с того света взрывы его смеха, который «наполнял салоны посольств, кабинеты министров, гудел в ресторанах, кафе, в ложах и за кулисами театров и театриков, раздавался в лекционных залах, на вернисажах, среди друзей и врагов. Он звучал на всех печальных и не совсем печальных станциях нашего изгнания и не однажды нам это изгнание скрашивал». Вежинский жаловался в письмах: «Тут страшная пустота. После смерти Лешека трудно выдержать»;

«После ухода Лешека не с кем поговорить. Полное отчаяние»;
«Я тут буквально подыхаю без людей. После смерти Лешека не с кем словом перемолвиться».

На похоронах, во время службы в костеле, погребальную проповедь произнес ксендз-полковник Тычковский. На кладбище речи посла Цехановского, конгрессмена Махровича и Вежинского были записаны «Свободной Европой» и через несколько дней переданы в эфир. Вежинский — выступая над могилой, до того как опустили и засыпали гроб, — временами от волнения не мог говорить, голос у него постоянно пресекался, а в какой-то момент рыдания просто прервали его речь.

Когда Алиция де Барча утратила свою переписку со скамандритами, ей больше всего было жаль писем Лехоня, «потому что он никогда мне не писал по делу, а был язвителен, остроумен и печален». И: «Человек был фантастический».

Добавлю к этому только, от имени Эльжбеты Виттлин, что дети его обожали, прямо-таки души в нем не чаяли. А дети свое дело знают.

О ЛЕШЕКЕ

Без преувеличения скажу, что в любое время дня и ночи, даже проведя несколько дней в дороге, он готов был куда-то бежать, смотреть, слушать. Влетал ко мне в комнату и звал куда-то или кричал по телефону: «Ну, скорей!» — и это означало, что я сию же минуту должен быть на улице. Бросившись с места в карьер, он бежал на три шага впереди. По дороге, щуря глаза, сквозь очки живо ко всему приглядывался. При этом морщил брови и наклонял голову то вправо, то влево, словно плохо видел и напрягал зрение, — но отлично видел всё.

(Смею утверждать, что Лешек был в прямом смысле слова великим наблюдателем. Он проявлял эту способность не только в тех случаях, когда выражал свое мнение о людях или взгляды на жизнь и мир, но и в мелком порой замечании, в зримом образе и комментарии к нему, часто поразительном.)

Останавливался он на улице редко, только для того, чтобы показать что-нибудь необычное. Я смотрел и удивлялся. Как он это заметил! В витрине книжного магазина, за много шагов до нее, — маленькую пожелтевшую фотографию, или на боковой стенке киоска, среди десятков иллюстрированных журналов, — картинку: женщина в купальном костюме входит в море, а внизу надпись по-румынски — это был румынский журнал: «Dupa masa», то есть «После обеда».

Обежав музеи, памятники и церкви, он вбегал на террасу кафе. Не первого попавшегося, потому что он не ходил куда попало. Передышек ему не требовалось, а окраин он не любил. Любил центр и прежде всего те кафе, где собиралась элита, хоть какая-нибудь элита: города, городка, района или определенной профессии. Едва мы садились, как Лешек уже знал, какими тузами мы окружены. И сообщал мне, что, к примеру, вон тот рыжий в углу трижды пытался перелететь через Атлантику, но долетал только до Азорских островов, а тот с повязкой на глазу дважды был в кругосветном путешествии, но отклонился от трассы и в Тегеране ему дважды подбил глаз один и тот же извозчик. И что зовут его не Альберт, а Ален.

*

Будучи мальчишкой неполных двадцати лет, он попробовал свое перо как театральный рецензент варшавского

сатирического журнала «Совизджал» [«Уленшпигель»]. В этом качестве он отправился на премьеру пьесы, о которой шутник-редактор поручил написать рецензию еще одному молодому человеку, о чем Лешек не знал. Втиснувшись боком на стул, уже занятый неизвестным ему типом, он познакомился со Слонимским.

— Я Пророк, — сказал Слонимский.

— Павлинье Перо, — представился Лехонь.

С того вечера они были неразлучной парой до того самого дня, когда Лешек, поссорившись со Слонимским, перестал ходить с ним и сидеть вместе с ним за столиком в «Земянской». Но в то же время, не в силах отказать себе в расходах, счета за которые обычно оплачивал из своего кармана Слонимский, Лехонь писал на бумажной салфетке: ««Варшавский курьер», «Свят», «Тыгодник иллюстрированный», три пирожных, два раза пол-черного кофе». Список вручал Слонимскому инвалид войны, продававший в «Земянской» сигареты. Слонимский, взглянув на список, вручал инвалиду требуемую сумму. Лешек подтверждал ее получение, приподняв шляпу, Слонимский отвечал поклоном.

Из книги «Воспоминания о Яне Лехоне», сост. Павел Кондзеля, Варшава 2006, Библиотека журнала «Вензь».

Здислав Черманский (1901–1970) — рисовальщик, карикатурист, ученик Фернана Леже. Сотрудник «Вядомостей литерацких» и «Цирулика варшавского». С 1939 в эмиграции.

ЛЕХОНЬ

Написать воспоминания о Лехоне... В первый момент мне казалось, что я легко с этим справлюсь. Ведь меня связывало с ним несколько лет близких дружеских отношений. Бывало, мы виделись ежедневно.

Выглядел он необычно, впечатляюще, повадки у него были своеобразные. Он был ни на кого не похож, ни с кем не сравним, он был типом в своем роде. Когда Роман Крамштык написал в давние годы портрет Лехоня, он назвал его анонимно — «Портрет поэта». Думаю, каждый, кто хоть раз видел эту картину, никогда ее не забудет. Не потому что это шедевр, но из-за того, что изображен человек особенный.

Но одно дело — описать вид необычного человека, а другое — показать его связи с окружающей средой.

Вот тут-то и начинаются трудности. Что существенного могу я сказать об этом Лехоне, с которым проболтал долгие часы, шатался по варшавским мостовым, просиживал в кофейнях, «представлял» литературу на раутах и банкетах, издеваясь вместе с ним над протоколом?

Его звали Лешек Серафинович. Фамилия, казалось бы, указывает на то, что родом он из армян. Однако брат Лешека уверял, что Серафиновичи — старинная польская шляхта с восточных окраин. Сам Лехонь в какой-то период жизни возводил свой род к древней еврейской аристократии.

О родителях Лехоня я знаю очень мало. В мое время его отец управлял домом престарелых в той части Старого города, которая, странным для нашего уха образом, называлась Новым городом. Постройки богадельни когда-то, при великом князе Константине, были казармами кавалерийского полка. Не помню точного текста мемориальной доски, вмурованной в крыло здания и возвещавшей, что именно отсюда в 1830 году кавалерия выступила на город, охваченный восстанием. Когда я увидел доску впервые, то понял, что в богадельне, кроме стариков, пребывают и духи борцов за свободу Польши. А духи эти играли большую роль в жизни Лехоня.

Лехонь занимал небольшую комнату во флигеле. Я был там несколько раз и никогда не видел ни его братьев, ни родителей.

Сегодня мне трудно это понять, ведь я люблю знакомиться с окружением близких мне людей. Однако так случилось, что Лехонь ускользнул от моей любознательности. Чем дальше я об этом думаю, тем яснее вырисовывается у меня образ Лехоня, чья жизнь была неустанной попыткой ускользнуть, сбежать от действительности, замести собственные следы. Никто из известных мне людей не жил столь исключительно в мире фантазии, как он. Его личность всегда окружала аура таинственности. Даже его литературный псевдоним — Ян Лехонь, — псевдоним, можно сказать, сказочный, сросся с ним так сильно, что, быть может, многие горячие поклонники только после его смерти узнали его настоящую фамилию.

Я оборачиваюсь назад... Владислав Сырокомля, Болеслав Прус, Анджей Струг — тоже псевдонимы, которые затмили подлинные фамилии. Затмили, но не стерли.

Жил он, как я уже сказал, в Старом городе, точнее — на его окраине, ближе к Цитадели. По дороге в город он ежедневно, а то и несколько раз в день должен был пройти много переулков и лесенок. Жители Старого города составляли сплоченную, замкнутую общину, и в этом смысле с ними мог сравниться только Маримонт, который был гораздо меньше. Однако я несколько раз шел вместе с Лехонем по его ежедневному пути и ни разу не заметил, чтобы он с кем-то заговорил или поздоровался.

А ведь когда-то я ходил по Старому городу с другим поэтом, с которым тоже общались духи, обитавшие в его древних стенах. Я имею в виду Артура Опмана (Ор-Ота). У него, казалось, здесь столько же друзей, сколько людей населяло Старый город. Он заглядывал в каждую лавчонку и шинок, у торговков на лотках ворошил капусту, детишкам раздавал леденцы.

А Лехонь двигался по Старому городу, как возвышенный дух. Думаю, его ужасала нищета и заурядность, пускай и честная. Должно быть, он и сам был своего рода страшилищем для местного народца. Однажды вечером он шел через Старый город на прием в Замок в черном пальтеце и в цилиндре.

— Иисусе Назаретский! — крикнула какая-то бабка, завидев необычного чудака, — каких только нет людей на этом свете!

Был период, когда нас с Лехонем объединяли конкретные дела. Я имею в виду ПЕН-клуб, или Польский литературный клуб, поскольку именно такое название установил для отечественного ПЕН-клуба Стефан Жеромский, который покровительствовал учреждению этой организации, а потом от

нее отстранился. В этом-то ПЕН-клубе я и занял после Яна Лорентовича место председателя. Лехонь, как большинство писателей в Польше в то время, возлагал на ПЕН-клуб большие, как оказалось, чрезмерные надежды, но не торопился работать в правлении. Его склонил к этому лишь поступок секретаря клуба Януша Хорайна, который, по мнению Лехоня, совершил вещь непростительную: написал статью, в которой отрицал, что Жеромский обладает качествами писателя мировой величины. Когда Хорайн под натиском правления оставил свой пост, Лехонь почувствовал, что секретариат обязан возглавить он. Не думаю, что он пожалел об этом решении, потому что Варшава тогда то и дело благодаря ПЕН-клубу принимала выдающихся гостей с Запада.

Первым мы увидели Томаса Манна, изысканного немца с почтенного ганзейского побережья, потом Г.К.Честертон, которого приветствовали поэты и кавалеристы, позднее нас поразил не только своей диковинной фигурой, но и экзотикой писателя *in exile* Константин Бальмонт.

В 1932 году в Варшаве должен был состояться международный конгресс ПЕН-клубов. Не стану описывать это событие, скажу лишь вкратце, что тогдашний ПЕН-клуб, разумно руководимый Джоном Голсуорси, имел в мире гораздо более прочные позиции, нежели нынешний. Программа конгресса, как каждая программа этого рода, предусматривала банкеты, визиты, экскурсии. Самым рискованным замыслом было балетное представление на открытой сцене театра в Лазенках. Лехонь настаивал на зрелище в Лазенках больше всех.

— Я тебя понимаю, — возражал Юлиуш Каден-Бандровский, — дело в Лазенковском дворце, богинях, нимфах, жасмине, колоннах, бельведерском очаровании, но помни: на дворе июнь — что будет, если на наших прифращенных гостей и декольтированных дам обрушится ливень?

— Убегут во дворец, — смеялся Лехонь.

— А ты посчитал, сколько людей может там поместиться? Это же беседка, дорогой мой, а не дворец.

Однако решили, что представление состоится. День выдался прекрасный, даже какой-то подозрительно прекрасный для польского июня. Вечер застыл в безветренной духоте, гроза, казалось, висит в воздухе, и Лехонь то и дело посматривал вверх, в мутное, мглистое небо. Ближе к ночи дворец засверкал огнями. Софиты, с трудом установленные на верхних ступенях амфитеатра, бросали снопы белого света на эстраду.

Однако в углублении у подножья сцены было темно, так что оркестру, доставленному из Большого театра, пришлось довольствоваться свечами. Под свечкой стоял и дирижер Мариан Рудницкий. Всё вместе, казалось, предвещает наскоро сработанное провинциальное зрелище.

Гвоздем балетной программы должна была стать «Шопениана», танцевальная импровизация по мотивам сочинений Шопена. Сражавшийся с темнотой оркестр играл не Бог весть как. Однако кроме него играла и июньская ночь, и свет, отражавшийся в неподвижном пруду, играли, наконец, и лазенковские птицы, разбуженные светом и музыкой, — они наивно вторили звукам. В момент, когда по сцене под вальс засеменила первая балерина, сидевший рядом Лехонь крепко сжал мне плечо.

— Великолепно, — шепнул он.

Я не ответил, потому что с другой стороны до меня донеслось чье-то сдавленное всхлипывание. Это госпожа Голсуорси прикрыла глаза платочком.

— Они поняли? Как ты думаешь? — спросил меня Лехонь, когда после окончания спектакля мы перешли во дворец.

Да!.. Это была счастливая идея — представление в Лазенках! Не всё в Польше разрушают бури.

Памятную ночь завершил скромный, но изысканный прием в лазенковском дворце. Кто видел этот маленький дворец, тот знает, что фасад не предвещает ослепительной роскоши интерьера. Я хорошо помню, как поражен был Голсуорси, когда переступил порог.

— Unbelievable! — сказал он мне. — Everything I have seen to-night is unbelievable.

Хозяином приема в Лазенках был тогдашний председатель совета министров Валерий Славек. Поэтому Голсуорси уже не удивился, когда узнал, что этот польский премьер с рукой, изуродованной взрывом бомбы, был когда-то революционером, сражавшимся за наше право на независимость.

Бывают минуты, когда на высшем уровне заново ассоциируются понятия, установленные обыденным ходом жизни, казалось бы, раз и навсегда. Такой минутой для меня, наверняка и для Лехоня тоже, был тот вечер в Лазенках, когда, как утверждал Лехонь, нам открылась Польша. Не знаю, сколько

подобных откровений он пережил, когда писал стихи или размышлял над ними.

Однако переживанием, заметным и для других, а для него несомненно великим и потрясающим, был перенос праха Словацкого в Польшу. Лехонь сопровождал великие останки от парижского кладбища Пер-Лашез до самой вавельской крипты. Занятость не позволила мне выехать в Гдыню, где прах поэта был передан для погребения в польской земле. В погребальном обряде я принял участие лишь в Варшаве.

Я стоял на пристани вместе с делегацией писателей, ожидая, когда медленно движущийся траурный корабль причалит к берегу. Но ни вид корабля, ни безмолвная толпа на берегу не тронули меня так сильно, как фигура Лехоня, который стоял у гроба в почетном карауле. Должно быть, он уже долго стоял на своем посту, лицо его было закопчено дымом от горевших на борту факелов. День был холодный. Лехонь, одетый только во фрак, стоял, обнажив голову. Он поразил нас. Одетые в пальто, готовые ненадолго снять шляпы, мы видели в его облике патетический жест, который одних трогал, других сердил, а глупцов смешил.

Когда стало известно, что Лехонь, этот первый боец «Пикадора», этот очаровательный романтический мечтатель со Старувки, оживлявший блестящим остроумием варшавские салоны и кофейни, этот приятель Венявы, этот язвительный редактор «Варшавского цирюльника», меняет свое положение одного из самых популярных людей в Варшаве на пост советника польского посольства в Париже, мы заключили, что, верно, приходит конец «кармазинной поэмы», начатой поэтом в бурные годы нашей борьбы за независимость.

Вести, которые доходили до нас из Парижа, где он занимал должность советника по культуре, казалось, подтверждают наши предположения. Кроме того те, кто знал Лехоня ближе, знали и то, что его томления были не всегда и не только «кармазинными». Часто его упрекали в снобизме. Однако снобизмом до конца не объяснить его переезд в Париж. Его профранцузские наклонности были глубже. Внутренне раздвоенный, он, наравне с сарматской импульсивностью, польской нежностью, верой в интуицию и склонностью к меланхолии, любил и беззаботное обаяние французов, их трезвую рассудочность и утомленную пресыщенность.

Быть может, эта искренняя влюбленность во Францию была главной причиной того, что он променял копье варшавского пикадора на портфель дипломата. Так или иначе, он расстался

со своей страной задолго до того, как военная гроза принудила к эмиграции его ближайших друзей – скамандритов. Он избавил себя от тех полных тревоги предвоенных лет в Польше, когда предчувствие грядущего катаклизма затрудняло спокойное существование и заставляло то и дело занимать решительную позицию по отношению к бурным событиям внутренней жизни.

Война перенесла его за океан. В Америке он оставался долгие годы. Никто из нас, из тех, кто знал его в Варшаве, не мог себе представить, что делает Лехонь на Пятой авеню, в Бруклине или Гарлеме. Освоился ли он в Нью-Йорке? Выехав из Франции банкротом, возродился ли он в стихийном и таком трудном для понимания европейцев центре Нового Света?

Опубликованные в [лондонских] «Ведомостях» размышления Лехоня на американские темы, казалось бы, свидетельствовали, что именно в Америке произошло то чудо, которого он напрасно ждал в Варшаве и в Париже: Лехонь примирился с действительностью. Случилось иначе. Вскоре после того, как Лехонь провозгласил свой удивительный символ веры в новую американскую цивилизацию, он совершил самоубийство. Действительность Нового Континента оказалась более суровой и требовательной, чем всякая другая.

Лехонь, хотя и поддался ей с виду, ускользнуть от нее уже не сумел.

1957

Из книги «Воспоминания о Яне Лехоне», сост. Павел Кондзеля, Варшава 2006, Библиотека журнала «Вензь».

Фердинанд Гётель (1860–1960) — драматург, публицист. В тридцатые годы председатель польского ПЕН-клуба. Во время войны редактор подпольного журнала «Нурт» («Течение»). С 1945 в эмиграции.

АНДЖЕЙ ВРУБЛЕВСКИЙ — ХУДОЖНИК «МЕЖДУ»

23 марта 2007 г. исполнилось 50 лет со дня трагической гибели Анджея Врублевского. Когда он погиб, ему не было еще даже тридцати. То, что он успел создать, обеспечило ему место в истории польского послевоенного искусства. Популярность пришла к нему после смерти, когда был выставлен цикл «Расстрелы». С другой стороны, оказалось, что этот вроде бы хорошо известный художник продолжает оставаться загадкой. Обращаясь к его творчеству, находишь в нем всё новые ответы и всё новые вопросы. «Пожалуй, нет в польском искусстве другой фигуры, столь долго и постоянно присутствовавшей своим «отсутствием», как Врублевский. Присутствовавшей — отсутствовавшей еще при жизни, — пишет Ханна Врублевская. — Это отсутствие, или «нехватка» всегда играли большую роль — как в творчестве Врублевского, так и в восприятии его» («Сецессия. Журнал об искусстве, культуре и современности», №1 (6), 2007, февр.).

Сейчас уже не имеет значения, какова была причина этой внезапной смерти во время вылазки в Татры. Значение получили догадки, появившиеся с тех пор. То ли несчастный случай, то ли убийство. А может, он покончил с собой? В его записках заходит речь о самоубийстве. Смерть сопровождала Врублевскому на протяжении всей жизни. Его творчество — как бы помост между умиранием и жизнью. Он принадлежал к поколению, которое знало смерть лучше всего. Сам он в войну был слишком молод, чтобы воевать. В тот момент, когда Врублевский формировался как человек, цивилизация была навсегда обесчещена. Но универсальный аспект всю жизнь будет переплетаться у него с личной трагедией. У него на глазах во время обыска их дома, который проводили немцы, умер отец. Однако кошмар войны — не единственный демон, которому ему как человеку и художнику приходилось противостоять.

В начале 90-х оказалось, что ведущая фигура польского послевоенного искусства остается неизвестной. Краковская галерея «Здежак» в 1993 г. издала сборник текстов Анджея Врублевского, составленный Яном Михальским, показавший художника в совершенно ином свете. В то время закупка

краковским Национальным музеем «познанского» «Расстрела» («Расстрел II»), последней картины знаменитого цикла, вызвала настоящую бурю. Можно ли включать в национальную сокровищницу картину, столь близкую к соцреалистическому китчу? Потом были большие монографические выставки в Кракове и Варшаве и много других показов, демонстрировавших всё новые аспекты наследия этого «известного» художника.

Можно заметить, как вместе с возвращением фигуративности в живопись растёт признание творчества Врублевского. 8 марта — 6 мая 2007 г. в варшавском Национальном музее прошла выставка «В 50-ю годовщину кончины Анджея Врублевского». Экспозиция была сосредоточена на избранных мотивах его творчества, показывая новые контексты и подчеркивая источники вдохновения, о которых раньше не говорилось. Остается вопрос: действительно ли Анджей Врублевский — настолько интересная фигура, чтобы упорно возвращаться к нему? А может быть, вопрос надо ставить по-другому: что такого актуального в творчестве Анджея Врублевского мы находим, из-за чего постоянно хотим к нему возвращаться? Сегодня свою связь с ним признают всё новые поколения художников, включая самое младшее, уже достигшее успехов (например Вильгельм Сасналь). На вышеупомянутой выставке в Варшаве экспонировались цикл рисунков и инсталляции Дианго Эрнандеса, вдохновленные работами Врублевского. Почему этот молодой художник родом с Кубы обращается к творчеству, относящемуся, казалось бы, к совсем другому времени и другой культуре? Но разве к другой политической системе? Служат ли притягательным магнитом универсальные темы, которые поднимал Врублевский? Или, может быть, язык его работ, их содержание, оказавшееся вневременным? А может, он просто оказался очень актуальным?

Анджей Врублевский учился в краковской Академии изобразительных искусств. Там он встретился с Анджеем Вайдой, который потом, после смерти друга, активно добивался признания уникальности его творчества. Прежде чем окончить Академию, Врублевский совершил поездку по Европе, побывал в знаменитых музеях и защитил диплом по истории искусства в Ягеллонском университете. Всю жизнь он осознавал традиции и перемены в старинном искусстве. В 1948 г. он принял участие в проходившей в Кракове I Выставке современного искусства. Это была первая и последняя столь мощная манифестация авангарда перед наступлением соцреализма. В то время, еще будучи студентом, Врублевский освоил язык модернистского искусства. В работах того периода

он использует синтетические, простые формы. Цвет интенсивен и решителен, доминируют резкие контрасты чистых цветов. Такая колористика характерна для большинства его работ. Выставленные в Кракове работы Врублевского осциллировали между абстракцией и фигуративностью. Создатели экспозиции поставили себе целью сделать современное искусство доступным рядовому человеку — крестьянину, рабочему. Им казалось, что выполнить требования новой власти — это значит обратиться к языку самому новаторскому, но корнями уходящему в достижения довоенного советского авангарда. Врублевский написал обширный текст, «разъяснявший» выставку, включился в дело со всем своим юношеским идеализмом. Выставка стала поражением. Дело не в откликах публики — в игре, которая тогда велась, человек значил всё меньше. Авангардистский язык искусства оказался неприемлемым, и власти закрыли выставку раньше намеченного срока. Надвигалось единственно правильное и единственно возможно искусство — социалистический реализм.

Однако, прежде чем перейти на сторону соцреализма, Врублевский создал самый знаменитый свой цикл — «Расстрелы». На краковской выставке было произведение, предвещавшее будущий цикл, — «Картина на тему ужасов войны». Зеленые туловища обезглавленных рыб на нейтральном белом фоне. Простой натюрморт через разрушение предмета передавал массовый ужас II Мировой войны. Такой же прием фрагментации появится во многих более поздних работах художника. Это мир, поддавшийся распаду.

«Расстрелы» Врублевский написал в первой половине 1949 года. Картины, без которых не может обойтись ни одна сколько-нибудь серьезная ретроспектива польского послевоенного искусства, а репродукции которых служат теперь иллюстрациями в школьных учебниках, написаны кистью 22-летнего студента. Во время подготовки к посмертной выставке (1958), на которой они впервые были показаны публике как целое, им присвоили номера. Эти номера — результат ошибки. Выглядит логичным, что самые интересные картины созданы в самом конце. Чистое заблуждение! Потрясающая конфронтация палача и жертвы, т.е. «Расстрел с эсэсовцем», картина, которую Анджей Вайда видел в мастерской друга, носит номер VI, а написана, вероятно, первой. Сразу после нее написан самый знаменитый «Сюрреалистический расстрел», которому дали заключительный номер VIII. В первое мгновение нам кажется, что у стены поставлены в ряд мужчины перед

расстрельным батальоном, которого мы, однако, не видим. Только присмотревшись, мы обнаруживаем, что Врублевский мыслит в этой картине кинематографически — использует кадры одной и той же киноленты.

««Расстрел VIII» — это расписанный на несколько фигур короткий рассказ о смерти одного человека, жертвы казни. Все происходит как будто в малую долю секунды. Это сам момент смерти. Первая фигура видит стреляющих палачей и стоящего поблизости ребенка, которого мы в свою очередь узнаём лишь по тени, тождественной его собственной тени. Мужчина сознает, что вот-вот будет расстрелян. Вторая и третья фигуры соединены пожатием руки — в момент, когда пуля достигает тела. Тело первой фигуры еще вмещается в рамки анатомической конструкции живого человека, тело второй — уже наполовину переломлено, вместе с тенью, которая одновременно меняет направление. Рукопожатие — это момент, та точка в доле секунды, когда человек умирает, еще сознавая, что происходит, хотя тело уже разрушено. Последняя фигура — это тело в состоянии анатомической дезорганизации, а поворот головы демонстрирует исчезновение сознания. «Расстрел VIII» — это, таким образом, самая суть расстрела, визуализация смерти жертвы, изображение времени, краткого момента, тем не менее обладающего своим нарративом: начало, кульминационная точка и конец. Это картина исключительная в истории искусства» (Пётр Пётровский. Значения модернизма. Об истории польского искусства после 1945 года. Познань, 1999). При общении с такой силой, содержащейся в композиции, на ум приходит знаменитое «Сотворение Адама» на своде Сикстинской капеллы. У Микеланджело между перстом Божиим и ладонью Адама в малую долю секунды вспыхивает искра жизни. У Врублевского помещенное в центр картины рукопожатие — это судорожная, обреченная на поражение попытка умирающего в этот момент человека удержаться в мире. Драму подчеркивают также цвет и нарративность композиции. Первая фигура твердо стоит на земле, она написана в реалистических цветах. Вторая сохраняет лишь телесность ладоней и стоп — остальное сделалось серым. За ней — с воздетыми вверх руками — контур человека зловещего голубого цвета. У третьей фигуры только стопы принадлежат миру живых. Четвертая, откровенно оторванная от земли, уже полностью отдана всеохватной голубизне. Фигуративные попытки передать кошмар войны во многих случаях оказывались плоскими и невыразительными. Анджей Врублевский выходит из них победоносно. Он не обращается к абстракции или экспрессионизму, как большинство западных

художников. Его герои бесчувственны и равнодушны. Тем не менее этот цикл принадлежит к самым эмоциональным произведениям, возникшим как отклик на II Мировую войну. Ключ к загадке — в метафоричности этого как будто реалистического мира. В «познанском» «Расстреле» ее не достало. Почему в самом конце создается самое слабое произведение? Врублевский оказался тогда перед дилеммой выбора между сложившимся общественно-политическим положением и попыткой защитить свою художественную личность.

В 1949 г. Анджей Врублевский старается найти себя в обстоятельствах навязанного сверху соцреализма. Он выбирает «единственное верные» темы, но в то же время поначалу стремится найти место для своего художественного языка. Однако в ближайшие несколько лет индивидуальности в Польше нет места. Небольшой рисунок «Стремление к совершенству» на варшавской выставке был повешен между работами соцреалистического периода и гораздо больше говорит о терзаниях живописца, чем любой анализ его творчества. Маленькие человеческие фигурки взбираются по лестнице в бесконечность. Некоторые лежат на земле. Человек оказался непригодным, непригодны и его орудия. А картины того же периода — это свидетельства попыток справиться с современностью, и не только художественной. Попытки, окончившиеся поражением. Заводившие в тупик. Сегодня мы с крайней легкостью выносим приговоры относительно послевоенной истории. Некоторые видят ее исключительно в категориях белого-черного, хорошего-плохого. Мы восхищаемся теми, кто в конце 40-х ушел из художественной жизни, творил «в стол». Судьба Врублевского показывает, что черно-белый взгляд несправедлив. Мимо его соцреалистических картин мы проходим не только из-за их сомнительной художественной ценности. Их можно было бы счесть свидетельством запредельности режима. Насколько сознателен был этот процесс у едва начинавшего свой творческий путь художника? У человека, который находился в апогее своих возможностей. Ему не хватало дистанции, которой мы теперь располагаем. Раздумья над собой пришли со временем. До конца своей жизни Врублевский сознавал, что потерпел поражение. Этот демон прибавился к галерее других призраков, преследовавших художника.

Между тем, в 1955 г. в Варшаве прошла Всепольская выставка молодого изобразительного искусства, известная под названием «Арсенал». Девизом выставки было «Против войны, против фашизма». Разумеется, она проходила под контролем

властей, но стала первым лучом, предвещавшим отход от соцреализма. Этой выставке обеспечено место в истории польского искусства как первому признаку оттепели. Врублевский показал на ней картину «Матери», явно отличавшуюся от остальных работ — хотя бы решительной колористикой. Сейчас она висит среди работ, отобранных в «Галерею искусства XX века» в варшавском Национальном музее. В 1955 г. комиссия, щедро раздававшая награды после выставки, этой картиной пренебрегла. Первоначально картина называлась в соответствии с девизом выставки — «Антифашистки». Художник сменил название накануне открытия. Речь же тут не о войне — здесь важна жизненная сила, материнство, новая жизнь, собственный опыт художника, ставшего мужем и отцом. Разве что это все-таки логичный ответ на катаклизм, память о котором никогда не сотрется.

В последний период творчества Врублевский с хирургической точностью стремился раскрыть механизмы, управляющие человеком. Жестокий биологизм — это вопрос о человечности. Физическое и духовное. В цикле, вдохновленном фигурой силача из «Дороги» Феллини, человек мощен, массивен, у него роскошные мышцы. А может, он всего лишь карикатура со своей головёнкой, насаженной на непропорциональное туловище? А может, это расчет с соцреалистическим образцом? Где же этот культ здоровья, силы и труда на пользу обществу? Остался только фигляр, показывающий свои фокусы, отданный во власть толпы. Возвращается мотив дезинтеграции. Наступает процесс распада на части. В эскизе «Голова» лицо утрачивает нос — художник отрезал его жирной красной линией. Остались лишь отдельные части тела. В гуаши «Ладонь» благодаря применению смыслового красного цвета большой палец перестает быть частью целого. Обычные предметы обретают магические свойства. «Рыба на красном фоне» превращается во вневременной знак, обладает не меньшей силой, чем созданные несколькими годами раньше «Рыбы без голов».

От дуализма истолкований работ Врублевского никуда не уйти. Так, как в серии монотипий «Надгробия». Человек и его предназначение. Смерть и жизнь. Жизнь как чувство, любовь, даже эротика. Фигура становится простой, угловатой, лишенной человеческих черт. И еще иным способом она разрушается: ее пересекают горизонтальные шрамы, раны, линии. Надрезы точно так же характеризуют человеческое тело, как и материальность фона. Нет разницы между человеком и тем, что его окружает. Все подвергается

деструкции. Мы уже не можем отличить, с чем имеем дело — с человеком или предметом. «Врублевский наблюдал и показывал поведение людей, их маразм, сомнения, которые болезненно затрагивали и его самого. Банкротство его недавней веры в соцреализм не позволило ему захлебнуться модернизмом, как это было с большинством живописцев. Он созерцал унылое, провинциальное существование человека, притом наблюдал глубоко лично. Он использовал простейшие выразительные средства: схематический рисунок, четкую композицию, чистый цвет» (Ивона Люба. Год 1955 й. Варшава, 2005). Так, как на одной из самых известных его последних картин «Очередь продолжается». Сидят на стульях фигуры, а может, это люди, напоминающие стулья? Монотонный ритм, взгляд, устремленный в одну точку, которой мы уже не видим. Вместе с героями мы увязли в этой очереди.

По случаю I Выставки современного искусства Анджей Врублевский так писал о своих произведениях: «...его картины заурядны, видны издалека, вблизи поражают своей выразительностью. Каждый шар или рыба конкретней, чем естественный предмет, например голова зрителя. Всё в этих картинах лежит на поверхности и самыми простыми словами кричат о радости и силе». Это описание отлично подходит к его поздним произведениям. Цвета — живые, они притягивают взгляд. Есть, однако, одно исключение. Они уже не говорят о радости и силе. Они говорят о молодом художнике, которому уже не до веселья. О художнике, запертом между своей биографией и современностью. Современностью его времени, но и современностью нашего мира.

ВИЛЬНЮС ПО ВЕНЦЛОВЕ

Чеслав Милош не раз с улыбкой говорил о литературной мафии европейцев в Америке. В нее он, кроме себя самого, зачислял Станислава Баранчака, Иосифа Бродского и Томаса Венцлову.

Не знаю, что думают русские о Венцлове^[1] — литовском поэте, преподающем славянскую литературу в Йельском университете. В Польше он известен и ценим. Широкий отклик получил опубликованный в 1979 г. в парижской «Культуре» «Диалог о Вильнюсе» Милоша и Венцловы, касавшийся болезненного и щекотливого вопроса — польско-литовского спора о Вильнюсе. Оба хотели положить конец конфликту, и их заслуга состоит в том, что они стремились улучшить польско-литовские отношения, причем тогда, когда лишь немногие верили в крушение тоталитарной системы.

Литовский поэт писал: «Вражда между нашими народами кажется мне чудовищной глупостью, и я хотел бы думать, что мы ее преодолели». Такой подход в то время не был популярен на берегах Вилии (Нерис) и Немана. Патриотически настроенным соотечественникам Венцловы не нравились подобные суждения, его почитали полонофилом, а заодно юдофилом и русофилом. Поэт мужественно переносил приговоры «истинных литовцев», несколько посмеиваясь над ними. Чувствовалась, однако, горечь, когда он признавался, что в Польше его знают лучше, чем на родине. Мне было крайне интересно прочитать его книгу о Вильнюсе, написанную в совершенно другие времена и в совершенно других обстоятельствах, а вдобавок адресованную иностранцам. Рассказ о Вильнюсе заказало поэту издательство «Зуркамп»: в 2009 г. Вильнюсу предстоит быть «культурной столицей Европы», и предусмотрительные немцы готовятся к этому заранее. Одновременно с немецким вышел и польский перевод книги. Я не разочаровалась. Книга написана с основательным знанием темы, при этом эрудиции писателя сопутствует ирония, негромкий юмор и восприятие смешной стороны различных исторических и жизненных ситуаций.

Венцлова представляет культурную историю Вильнюса от языческих истоков до нашего времени. От святых змей до Речи Посполитой Обоих Народов, разделов, времен Мицкевича и Словацкого — вплоть до Пилсудского, Желиговского, Сметоны,

шяулисов и могил евреев, уничтоженных в Понарах. И, наконец, от Советской Литвы до «Саюдиса» и Витаутаса Ландсбергиса. Поэт описывает события с точки зрения литовца, но прежде всего — европейца, способного хладнокровно взглянуть на сложную, драматическую историю литовской столицы и изначально чуждого любому национализму. В рассказе о Вильнюсе не могло обойтись без упоминания Муравьева-вешателя. «Его мощная, тяжелая фигура в парадном мундире стала пугалом не только для виленчан, но и для самих русских», — констатирует Венцлова. Ненавистный генерал-губернатор вешал, ссылал в Сибирь, жег деревни, конфисковал имения, закрывал костелы. Он изменил облик Вильнюса: приказал отремонтировать старые и построить новые церкви, чтобы изгнать из города «римскую заразу». Вильнюс православных крестов и сияющих церковных куполов увидел и воспел в стихах Тютчев.

Обширную и крайне интересную главу посвятил Венцлова Вильнюсу — столице Советской Литвы. Эта часть рассказа становится очень личной, написанной с позиции свидетеля и участника событий — до тех пор, пока советская власть не вышвырнула поэта с родины. Тех дней, когда Литва обретала независимость, он не мог наблюдать вблизи: несколько раз он пытался поехать, но КГБ успешно ограничивало поездки эмигрантов в Литву. Побывать в Вильнюсе в те горячие дни ему удалось только один раз. На «Саюдис» и Ландсбергиса («он показался мне не столько демократом, сколько русофобом») он глядел без иллюзий.

А потом... Потом кончается история и наступает современность: «В ней всё может случиться, однако уже теперь можно сказать, что старомодный национализм в Вильнюсе не одержал настоящей победы: в атмосфере свободы стало ясно, что он не всесилен».

Литовский поэт, житель милошевской «родной Европы», пишет эти слова с откровенным удовлетворением.

Томас Венцлова. Описать Вильнюс. Пер. [на польский] Анна Кузборская. Варшава, «Зешиты литерацке», 2006.

На вопрос Эльжбеты Савицкой мы можем ответить, что в России издана книга стихов Томаса Венцловы «Граненый воздух», книга «Статьи о Бродском», сборник публицистики

«Свобода и правда», в Вильнюсе по-русски вышла книга «Собеседники на пиру. Статьи о русской литературе» (частично повторяющая вышедшую в США книгу «Неустойчивое равновесие»); вышла в переводе на русский его научная биография, написанная Донатой Митайте, и книга ее интервью с друзьями поэта; в 2001 г. журнал «Старое литературное обозрение» опубликовал большую подборку материалов «Чеслав Милош — Томас Венцлова. Диалог о Восточной Европе», где, в частности, опубликован и «Диалог о Вильнюсе» (под заголовком «Вильнюс как форма духовной жизни») в пер. А.Израилевич. Литовский поэт широко публикуется в российских журналах, сборниках статей и на сайтах русского Интернета. — Ред.

1.

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• «Как ни парадоксально, этот акт культурного нигилизма совершен во имя национальных и католических ценностей. Впрочем, это уже не первый подобный случай в карьере министра Гертыха», — пишет историк литературы проф. Мария Янион. Ее слова стали реакцией на новую школьную программу по литературе, предложенную министром национального образования Романом Гертыхом. Из школьного «канона» исчезли многие выдающиеся представители мировой литературы (Достоевский, Гете, Джозеф Конрад) и еще больше — польской (Гомбрович, Виткаций, Герлинг-Грудзинский). Вместо них добавлены книги большей частью анахроничные, зато, по мнению министра, патриотические. «Исключенные из программы писатели были прежде всего мастерами вопросов, — пишет далее Янион. — Благодаря им люди страдающие и думающие, то есть все люди, могут узнать, как понять и высказать драму своего существования (...) Конечно, массовая культура может убрать этот трудный мир из поля зрения и заменить его едиными схемами легкого утешения. Писатели, предложенные вместо исключенных, не потрясают читателя и благодаря этому дают ему иллюзорное ощущение безопасности (...) Разумеется, намеченная чистка в «каноне» литературы неизбежно выставляет министра Гертыха в смешном свете». (В следующем номере мы напечатаем интервью с Виктором Ерофеевым, посвященное этой теме.)

• Лауреатом премии им. Дедециуса за перевод польской литературы на немецкий язык стал Мартин Поллак. Недавно по-польски вышла его книга «После Галиции». «Галиция всегда была для меня тройной метафорой, — пишет Поллак. — Для австрийцев она часто означала многообразие, на которое они смотрят с некоторой ностальгией. Кроме того, она стала метафорой войны и жестокости, так как в I Мировую войну галицийский фронт был невероятно кровавым. Третья метафора, присутствующая и в польском мышлении, — это галицийская бедность (...) В начале 80?х я поехал в Польшу, чтобы рассказать о первых забастовках, но меня завернули в аэропорту. Я, эксперт по польским проблемам, сидел в Вене, а в Польшу поехать не мог... Поэтому мне пришлось найти себе

другое занятие. Чтобы не слишком далеко отходить от своей тематики, я выбрал Галицию. В последнее время я начал немного заниматься украинской литературой и был изумлен, как много в ней можно найти от Галиции. После советского периода она внезапно появилась вновь. Необязательно в ностальгическом ракурсе».

- Премии польского ПЕН-Клуба им. Ксаверия и Мечислава Прушинских удостоился Кшиштоф Помян, выдающийся философ, уже долгие годы живущий и преподающий в Париже. «Еще почти полвека тому назад Помян заметил и угадал распад «научного мировоззрения», то есть пресловутого «большого нарратива», и сделал из этого распада два фундаментальных вывода, — сказал в похвальном слове проф. Анджей Менцвель. — Первый из них таков: «большого нарратива» уже нет и никогда больше не будет. Научные и мистические мировоззрения, объединяющие в единую систему космическое, биологическое, историческое и личное время, относятся к области мифа, а не знаний, и должны там оставаться. Второй вывод... Если тотальные нарративы невозможны и нежелательны, то локальные или частичные синтезы необходимы и обязательны — в том смысле, что их создание — это долг критически мыслящего и пытливого ума».

- «Павел Дунин-Вонсович — известный критик и издатель, но прежде всего неутомимый летописец польской культуры, создаваемой теми, кто родился после 1960 года, — пишет Войцех Орлинский по случаю выхода «Ламповых бесед» этого автора. — Языковой аспект этих бесед кажется мне наиболее интересным, ибо показывает важную особенность этого поколения, которую, пожалуй, никому прежде не удалось так метко и синтетически определить. Это поколение революционеров, радикально сражающихся за гашековский «умеренный прогресс» (...) поколение бунтарей, избегающих вульгаризмов». (Обширную статью об этом мы опубликуем в следующем номере.)

- На первое место в списке бестселлеров вернулась Иоанна Хмелевская со своим новым юмористически-остросюжетным романом «Зажигалка». Второе место занимает «Красная горячка» Анджея Филиппюка — сборник одиннадцати новых рассказов, темой которых стали путешествия по польской истории. По-прежнему высокие места в списке занимают книги Рышарда Капустинского, а в категории документальной литературы лидирует новое издание «Польши Пястов» Павла Ясеницы. «Молодому поколению польских читателей пришлось ждать этого издания очень долго. Первое стало одной из

величайших издательских сенсаций послевоенной Польши. А автор умер, затравленный истерически выкрикиваемыми обвинениями Владислава Гомулки», — пишет Анджей Ростоцкий. Переизданию книги препятствовал спор об авторских правах между дочерью Ясеницы и потомками его второй жены, которая оказалась агентом, подосланным к Ясенице госбезопасностью ПНР.

- Недавно в конец списка самых читаемых книг попал роман Анны Янко «Девушка со спичками», «очень зрелая и мудрая книга о женщине, которая хотела быть любимой, — пишет все тот же Анджей Ростоцкий. — Стоит прочитать ее, чтобы убедиться, как мужчины умеют ранить — по глупости и из мужского эгоизма».

- «Ночь музеев» уже прочно заняла свое место в культурном календаре поляков. В этом году в музеи пришло особенно много варшавян, но и в других городах не было недостатка в посетителях. «Ночь музеев» дает возможность в неповторимой атмосфере посмотреть самые крупные выставки или заглянуть в те места, куда посетители заходят намного реже. Благодаря этой атмосфере и приятному обществу искусство становится ближе людям, а определение «массовое восприятие» утрачивает свое недавнее пренебрежительное значение.

- Своими размышлениями по поводу выставки «Мавзолей», организованной в подземельях почетной трибуны перед варшавским Дворцом культуры и науки, делится Дорота Ярецкая: «На самом деле это последние минуты фикции, порождаемой соцреалистической фабрикой грез (...) Площадь Парадов должна заполниться другими, новыми зданиями (в т.ч. зданием Музея современного искусства) — тогда дворец тоже станет обыкновенным зданием и утратит свою зловещую мощь. Художники вернутся туда, но не на свой страх и риск, а по приглашению на выставки в Музее современного искусства. Пространство будет упорядочено. Пока что мы еще находимся в состоянии хаоса и свободы: искусство ходит, где хочет. Каждый должен пойти туда и ощутить этот хаос на собственной шкуре, прежде чем на площадь придет цивилизация».

- «Документальный фильм интереснее художественного, — пишет Томаш Любельский. — В последнее время у этой точки зрения все больше сторонников. Их могло стать еще больше после недавно завершившегося Краковского кинофестиваля. Никогда нельзя предсказать, какая позиция возьмет верх на очередном краковском фестивале (...) Год назад здесь преобладал классический документальный фильм, стремящийся к максимальной достоверности. В этом году

царили экстравагантность и непредсказуемость. Казалось, и кинематографистам, и зрителям надоел серый цвет мира, требующего вмешательства. На этот раз первую премию получил студент третьего курса Рафал Скальский за фильм «52 процента». Его героиня, 11-летняя Алла, мечтает поступить в знаменитую петербургскую Академию русского балета. Фильм был создан в рамках польско-российского кинопроекта (...) Новинкой фестиваля стал впервые проведенный конкурс полнометражных документальных фильмов. Здесь Гран-при завоевал голландский фильм Йерена Беквенса «Джимми Розенберг — отец, сын и талант»».

- В этом году победителем торунского театрального фестиваля «Контакт» стал латвийский режиссер Алвис Херманис. «Херманис в театре не убивает. Это единственный принцип, помимо этого у него нет своего стиля, — пишет Иоанна Деркачев. — У него нет образцов и учителей. Нет и конкурентов (...) Театр Херманиса — это театр сочувствия без пустой сентиментальности, театр волнения без китча, театр неожиданности, социальной восприимчивости, антропологических поисков».

- В Кракове на 84-м году жизни скончался профессор Виктор Зин, известный широкой публике по одному из прекраснейших телевизионных циклов «Пёрышком и угольком», — «ученый, архитектор, реставратор и знаток памятников старины, но прежде всего хранитель народной памяти, который, как никто другой, понимал суть польскости и «пёрышком и угольком», подобно мицкевичевскому подсвечнику, спасал память о духовных ценностях, которые делают Польшу Польшей, выполняя древнее правило: учить и в то же время восхищаться», — написал в некрологе профессора министр культуры и национального наследия.

- В Новом-Месте-на-Пилице, на территории бывшей авиабазы, за 100 млн. евро из европейских и польских фондов будет построен киногородок. Есть уже даже проекты фильмов, которые будут там сняты: картина Юлиуша Махульского о Яне Новаке-Езёранском и два фильма о Варшавском восстании. Договор о строительстве киностудии в Новом-Месте был подписан в присутствии премьер-министра Качинского, который сказал: «Я уже не в первый раз встречаюсь с кинематографистами ради благого дела. У государства есть обязанности перед искусством. Мы знаем это и будем эти обязанности выполнять, сознавая, что оценка власти зависит и от нашей активности в этой области».

• На 29-м Московском международном кинофестивале Даниэль Ольбрыхский был награжден премией им. Константина Станиславского. Премия присуждается за творческий вклад в развитие мирового кино и реализацию принципов актерского метода Станиславского. Сейчас Ольбрыхскому 62 года, а в кино он дебютировал в 1962 году. Уже спустя два года он сыграл Рафала Ольбромского в «Пепле» Анджея Вайды, став затем одним из любимых актеров знаменитого режиссера. Ольбрыхский играл в «Пейзаже после битвы», в «Свадьбе», в выдвинутой на «Оскар» «Земле обетованной» и в «Барышнях из Вилька». А еще он был Азией Тугайбеевичем в «Пане Володыевском» и Анджеем Кмитицем в «Потопе» Хоффмана. В театре он играл Гамлета, Отелло, Макбета. Среди лауреатов премии им. Станиславского есть такие мастера, как Мерил Стрип и Джек Николсон. В этом году конкурентами Ольбрыхского были Дастин Хоффман и Джон Малкович. Премия польскому актеру вручил на церемонии закрытия фестиваля Клод Лелюш. Редакция «Новой Польши» от всей души поздравляет Даниэля Ольбрыхского с этим радостным событием.

КАЗИК ПОЕТ О ПОЛЬШЕ

Писать о Казике Сташевском — это по сути дела писать не только о феномене рок-музыки, об артистической личности, но еще и о специфически польском опыте последних 25 лет — времени великих перемен.

В 1979–1980 гг. он выступал с группой «Poland», основанной Робертом Шмидтом, с которой записал такие сочинения, как «Молодые варшавяне» и «Войны». В 1981 г. он основал группу «Novelty Poland», годом позже — «Культ», в 1991-м начал сольную карьеру, однако охотно принимает участие и в разных новых артистических предприятиях: «Казик Вживе», «El Doora», «Бульдог». Он записал также два альбома, где исполняет песни Курта Вайля («Мелодии Курта Вайля и что-то сверх того», 2001) и Тома Уэйтса («Песни Тома Уэйтса», 2003) в переводах Романа Колаковского. Его считают предтечей польской альтернативной музыки, хип-хопа и рэпа.

Казик играет роль своего рода сейсмографа польской политической сцены и общественной жизни, одновременно избегая схематизма публицистического комментария и уклоняясь от роли дежурного по стране сатирика. Его тексты, всегда ангажированные, всегда берущие за живое, почти всегда иконоборческие, обретают популярность, потому что улавливают эмоции, носящиеся в воздухе, а силу свою сохраняют благодаря тому, что не удовлетворяются временным, преходящим, стремясь вписаться в исторический дискурс о самосознании и ценностях в стране на берегах Вислы.

Несомненно, на такую форму его художественного высказывания повлияла история семьи; особенно сильный отпечаток наложила на него судьба отца — Станислава Сташевского. Юноша из бедной шляхетской семьи, во время войны боец АК, в Варшавском восстании он воевал на правом берегу Вислы, в Праге. Потом записался в Вермахт, дезертировал, был схвачен и отправлен в Маутхаузен, в лагерь военнопленных. Тяжело больной, он был брошен в марте 1945-го — еще живым — на гору трупов, предназначенных к сожжению. Спас его случай. Чудом выжив, в ПНР Станислав Сташевский поверил в новую идеологию, хотел жить и строить. Он закончил архитектурный факультет Варшавского политехнического института, работал в Плоцке, одновременно занимался искусством, собирая вокруг себя молодую

интеллигенцию. Со временем его художественная деятельность, его песни — всё было признано идеологически подозрительным, вредным, наконец враждебным, и в 1967 г. это заставило Станислава Шашевского эмигрировать. Он уехал в Париж и в 1973 г. умер там от сердечного приступа. Казимежу Петру Шашевскому — Казика, — родившемуся 12 марта 1963 г., не было и четырех лет, когда отец эмигрировал.

Быть может, поэтому история Польши, ее состояние и политические дискуссии составляют для Казика живую материю повседневности: он сам испытал, как эти факторы могут повлиять на судьбу отдельной личности, как они неустранимы и чреваты последствиями для рядовых людей. Шашевский не пишет текстов, претендующих на роль национальных манифестов, однако они расходятся в виде широко употребляемых в повседневном языке цитат. Он не отождествляет себя ни с какой политической партией, критикует всех: то левых, то правых, то Церковь и своих коллег по искусству. Не строит он из себя и лидера, не претендует на роль всеведущего ментора, хотя питается спором с действительностью. Тот факт, что объектом его критики может стать любой, парадоксально способствует его популярности — всегда найдется группа слушателей, готовая отождествляться с Казиком.

На последнем диске с «Бульдогом» он поет, имея в виду последнюю волну польской трудовой эмиграции:

Чего это все уехали, кто им сменил добро на зло?

Чего это они тут не остались, пустым оставили каждый дом?

Чего это все уехали, как это случилось, что себя тут

Они больше не видели? Скажи, я превращаюсь в слух.

(Перевод стихотворных цитат здесь и далее дословный)

Но Казик не строит из себя и защитника польской земли, да и сам не пренебрегает солнцем и прелестями других уголков мира. Он сам над собой шутит, что у него — де два садовых участка: один на трассе Варшава — Люблин, а другой — по пути на Монтевидео, то есть на Тенерифе, где у него своя квартира. То, что он остается в Польше, — выбор добровольный; польское самосознание не окружает его тюремной стеной, хотя Польша и польский дух — по-видимому, та тема, от которой Казик,

скорее сознательно, избавиться не хочет. Он критикует не только системы и организации, но и любую грязь и вонь, попадающиеся ему на пути, совершенно так, как если бы и он обладал специфически польским характером. С одинаковой едкостью он отмечает как провалы политиков, так и сомнительный аромат автобуса, переполненного неумытыми, потными соотечественниками.

Казик — многократный лауреат; упомянем хотя бы «Паспорт «Политики»» за 1998 год, премию «Фредерик» 1994, 1995, 1998 и 1999 гг., премию МТВ 2000-го. Он принципиально не ходит получать свои премии, демонстрируя тем самым свою независимость и свободу пребывать хотя бы вне светского круга, вне обязанности где-то появляться, жать руки, сниматься со всеми и улыбаться журналистам... Ему важно, как продаются его диски, но неважно, насколько его творчеству уделяют место СМИ. Он верит в своих слушателей, в свой контакт с обществом, а конкуренцию с «продуктами» шоу-бизнеса, лишенными автономии и собственного мнения, считает унижительной.

Спор с польским католичеством

Вопрос мог бы показаться простым: так, мол, пристало молодому рэперу. Проблема, однако, в том, что Казик требует от института Церкви и от верующих нравственности и чистоты. Он не насмехается ни над традиционной моралью, ни над пристрастием к простонародной религиозности, зато безжалостно указывает на такие вещи, как разрыв между декларируемым милосердием и злобой верующих или фальсификация истин веры, ведущая к нетерпимости и фанатизму. Или, наконец, пустой формализм так воспринимаемой религии.

«Да святится имя Твое» — говорят они

И имя Твое скрывают

«Отпускаем должникам нашим» —

Долгов не отпускают

«Да приидет Царствие Твое» —

Вовсе его не ждут

«По делам их познаете их!»

Даже если на переломе 80–90–х критика римско-католической Церкви у Казика в известной мере вытекала из увлечения Свидетелями Иеговы (я имею в виду такие сочинения, как «Религия великого Вавилона» с диска «Культ», 1986; «Вавилон» и «Вавилонские жрецы» с диска «Послушай это тебе», 1988; «Ментальные коммуны», 1990), то преувеличением было бы объяснять его провокационные тексты антипатиями общего и межконфессионального порядка. Казик пел не о догматических различиях и не о богословских оттенках.

Его прежде всего интересуют люди и, что из этого следует, их грехи и трудности, их борьба с собственным лживым представлением о самих себе. В текстах Казика римское католичество опирается на неразумный бег стада баранов, начинается окроплением свяченой водой и кончается всеобщим пьянством, по пути зацепляясь за образки на шее и воскресный сбор денег в костелах. Кроме того, оно приобретает формы зависимости, почти сравнимой с партийной принадлежностью, и в этом контексте в первую очередь появляется радиостанция «Мария» и фигура «отца-директора» [свещ. Рыдзыка], которого Казик называет апокалиптиком, не входя, впрочем, в конкретную полемику с ним.

О своей вере Казик высказывается в либеральном духе. Признавая, что первоначальное увлечение Свидетелями Иеговы представляло собой своеобразное противоядие от польской действительности 1980–х, побег в иное измерение, Казик позже не демонстрировал ни свою собственную веру, ни религиозные искания. Из особенно личных текстов, все-таки затрагивающих эту тематику, следовало бы отметить цитированное выше сочинение «Моя вера» (диск «Сжигайся», 1993) и «Псалом 151» (диск «Мой издатель», 1994). Довольно нетипична с этой точки зрения песня «L.O.V.E.» (диск «12 грошей», 1997):

И вправду человек во что-то должен верить и хочет

Даже тогда, когда клянется и говорит, что нет

А факты таковы: Бог есть!

В книгу жизни не всех записывают

Будь оно иначе, было бы за..анным делом

Жить в этой психушке без надежды под утро.

Оставляя в стороне неканонический стиль речи о религиозном опыте, в контексте творчества Казика лишь придающий ему подлинности, я хотела бы отметить, что ни один из его текстов не дает оснований судить о его личном отношении к Богу и вере. Поэтому попытки показать либо религиозность, либо атеизм артиста обречены на неудачу, ибо состояние, его характеризующее, — поиски, о чем он постоянно говорит в интервью. Вопрос веры остается для него одним из самых существенных — по личным ли причинам, или потому, что он не может избежать этой темы как автор «ангажированный», то есть пишущий о важном и вневременном; этого не определишь, ибо определить мы могли бы только тогда, когда были бы в состоянии установить, в какой степени Казик отделяет свою частную жизнь от артистической... В качестве курьеза приведу то, что он сказал левой (!) «Трибуне»:

«Для меня религия — одна из форм поисков смысла, но сегодня я агностик. Думаю, что смысл я нашел в чем-то другом, в расходовании себя, если говорить о творчестве, и в до сих пор — тьфу-тьфу! — прекрасной семейной жизни. Так или иначе, жить надо так, как если бы Бог был!»

Спор с польской политической жизнью

Пожалуй, самую большую популярность приобрела песня «Еще Польша...» — продолжение «культового» гимна «Польша». Казик представил в ней унылую польскую действительность начала 90-х, сермяжные зачатки и контрасты создававшегося тогда капитализма. Против песни официально протестовал сенатор от Христианско-национального объединения Ян Шафранец, оценив ее как оскорбляющую польский народ, отнимающую смысл у свержения коммунизма и обвиняющую поляков в антисемитизме:

Что ж вы, сукины дети, сделали с этим краем?

Помесь католика с посткоммунистической маньей

Эти молящиеся каждое утро и ходящие в костел

Охотно убили бы тебя лишь за форму твоего носа.

Дело дошло до прокуратуры. Принеся объяснения, Казик отвечал сенатору на страницах «Газеты выборчей», обвинив его в разбазаривании денег налогоплательщиков и требуя извинений, которых так никогда и не получил. С этой песней Казик выступал на фестивале в Сопоте в 1991 году.

Пользовался большим успехом, завоевал популярность и прочно вошел в повседневную речь текст другой песни, представленной в Сопоте, — «100 000 000» («Валенса, отдай мои сто миллионов»). Разбушевалась настоящая буря, началась общенациональная дискуссия, в которой слово взял Лех Валенса, тогда президент Польши. Всему этому шуму в СМИ Казик подвел итог, сказав, что ему никогда не хватило бы денег на такую рекламу, которую ему устроил Валенса. Трудно было, однако, ожидать, чтобы президент пропустил мимо ушей вопрос, который был на устах у миллионов разочарованных граждан.

Обещал ты сто миллионов, я хорошо слышал

И прошло столько времени, а я ничего не получил

Жду еще три дня и ни минуты больше

*Нетерпение мое возрастает, когда ожидание
затягивается*

Все мои приятели, они думают так же

Когда ложатся вечером и когда встают утром

Они помнят твои слова, когда слушали тебя на площади

Валенса, давай мои сто миллионов

Валенса, давай мои сто миллионов

Валенса, давай мои сто миллионов,

Сто... миллионов...

Сто миллионов...

Феномен Казика, вероятнее всего, таится в том, что он не стесняясь высказывает то, что многие тщательно прячут под маской политкорректности или просто помалкивают, чтобы не испортить свой «имидж».

То же самое и в вопросах польской внешней политики: Казик не боится дипломатических скандалов, не заботится о реакции политиков. Так было с поездкой премьер-министра Юзефа Олексы в Москву, пришедшейся как раз на то время, когда Россия напала на Чечню. Казик тогда пел «Лысый едет в Москву» (диск «Отдаление», 1995):

Это нормально, что ты не разговариваешь с бандитами,

Не приглашаешь их домой, не ходишь к ним в гости.

Кто с кем ведется, от того и наберется.

Это надолго в каждой голове остается.

Думаю, что несколько неприлично

Ехать в гости к тому, кто детей убивает

Во имя имперских бредней, это не лучшая идея

Этого не объяснит ни праздник, ни будний день.

Когда на горские села падают бомбы,

Их единственная вина, что они там живут.

Артист не вдается в нюансы и в то же время не узурпирует право подсказывать какие бы то ни было решения конфликта — он констатирует факты, выражает свое неодобрение тому, что делает премьер-министр, с которым сам не отождествляется. Он не хочет, чтобы все поляки, в том числе и он сам, отождествлялись с такой позицией. Прежде всего его взволновала чеченская война — вопрос польско-российских отношений в данном случае имел значение второстепенное.

Сташевский не только комментирует текущие дела, но стремится и к пересмотру истории. Такого рода сочинением была широко известная песня «Артисты»:

Все артисты — проститутки

В дымках хороших трубок, в парах водки

Третья Речь Посполитая, Народная Польша

То же самое снова, то же самое снова

Третья Речь Посполитая, Народная Польша

То же самое снова, то же самое снова

Простите, могу ли я сняться с вами

Я и подружка, медведь, Закопане

Своим трудом на сцене я хочу достигнуть своей цели

Ордена Белого Орла, Строителя ПНР

Видишь ли ты это?

И не стыдишься?

Видишь ли ты это?

И не стыдишься?

А я слышу, они говорят, что делают то, что хотят

А я слышу, они говорят, что делают то, что хотят

А я слышу, они говорят, что делают уже то, что хотят

А я слышу, они говорят, что делают уже то, что хотят

Текст клеймит лицемерие артистических кругов, готовых прислуживать власти независимо от того, какие ценности за ней стоят, кругов, поставивших себя в зависимость от жажды славы и выгод, из нее вытекающих, кругов, готовых всему аплодировать и еще себе это изящно объяснить, обосновать и одобрить, как будто бы сменить взгляды было такой же мелочью, как сменить шляпу. Такая смена, однако, всегда влечет какие-то последствия, кому-то наносит боль, оставляет неизгладимые следы, не позволяющие беззаботно гнаться за славой и званиями, узурпировать право говорить о морали с позиции авторитета. Песню сопровождал видеоклип, показывающий известных актеров в ситуациях, которые они предпочли бы навсегда забыть, — когда они аплодировали власти ПНР, идя в рядах первомайских демонстраций, и — счастливые, с радостной улыбкой! — пожимали руку партийным чинам. Дело кончилось судом.

В поисках правды и порядочности Казик рискует не только снова оказаться под судом, но и — о, ирония! — оказаться выброшенным «на свалку истории», выброшенным теми, кому хоть на минуту готов был поверить.

«Я страшно разочарован и зол на самого себя. Я хотел бы попросить прощения у своих знакомых и незнакомых, которых обидел, питая какие бы то ни было надежды, связанные с нынешней правящей системой (...). Час мятежа близок!» — говорил он в сентябре 2006 года.

Сташевский как будто осужден на спор и бунт, и стоит ему этим пренебречь, как он испытывает разочарование, в том числе и в себе самом.

Интернет-сайт о творчестве Казика: www.staszewski.art.pl

Официальный интернет-сайт Казика: www.kazik.pl

Официальный сайт группы «Культ»: www.kult.art.pl

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Одна из проблем, с которыми мы неустанно (но особенно в периоды политических или исторических переломов) вынуждены справляться, — это вопрос нашего национального самосознания. Обычно мы ищем решений или попросту ответов на вопросы, кто мы такие, откуда и куда идем, в двух планах: сиюминутного опыта и долгосрочной перспективы. Несомненно и то, что различные формулировки — иногда косвенные, иногда прямые — вопроса о польском национальном самосознании представляют собой один из главных, хотя часто как бы скрытых от широкой публики мотивов дискуссий, ведущихся в прессе (но все чаще и в научных трудах).

Последний такой пример — приложение к «**Тыжднику повшехному**» (2007, №22), названное «История в «Тыжднике»». Среди многих интересных материалов хочу обратить внимание на статью одного из самых активных исследователей современной литературы Пшемислава Чаплинского «Война за ПНР». Эта война идет, в частности, и в литературе:

«Мы рассказываем о ПНР, чтобы определить свое место в посткоммунистической Польше. Мы спорим не о картине былого мира, а о сегодняшних последствиях правового и символического порядка, вытекающих из нее. Из-за этих последствий война за ПНР стала войной за невиновность.

В начале 90 х, сразу после мнимого прощания с ПНР, в польских спорах появились два персонифицированных образа прошлого. Первый, принадлежавший Юзефу Тишнеру, существовал под названием *homo sovieticus* (...), второй — благодаря Мареку Новаковскому — вошел в общественное сознание как *homo polonicus* (...). В этих двух метафорах таилось предвестие одной из самых жестоких войн, которые ведет польское общество с самим собой с самого начала нового периода. Анонс войны мы увидим, если на метафоры посмотрим как на декларации общественной социотехники, то есть как на способ брать власть над настоящим, чтобы управлять прошлым.

Термин *homo sovieticus* по замыслу определял реликты ПНР в каждом из нас. Речь шла о психологии раба, который выучил, что в обмен на послушание, пассивность и даже плохую работу или антигражданское поведение он может ждать от государства полной социальной опеки. Опека эта существовала на минимальном уровне, однако была эквивалентом столь же минимальной активности в создании общей действительности. Употребив эту метафору, Тишнер верно назвал одно из опасений раннего периода демократии. Нас беспокоило, что перед лицом изменившейся действительности часть общества пожелает сохранить старый *habitus* — социалистический по форме и польский по содержанию. Чтобы этот *habitus* исключить из жизни, надо было его назвать. И прибавить четкий призыв: раз социализм кончился, перестанем быть рабами.

У метафоры Тишнера было одно достоинство и один недостаток. Достоинство было связано со стремлением убедить, что социализм жил в нас, а не во внешних обстоятельствах. Недостаток лежал в блокировании мышления о потенциальных положительных элементах *homo sovieticus*'а. Вдобавок это определение не предполагало, что возможен союз между новым типом поведения и старыми чаяниями. Быть может, поэтому Тишнер создал метафору дисциплинирующую, унижающую, заклинающую, которая должна была помешать мутациям дурного гена личности.

Термин *homo polonicus* открывал совершенно иную перспективу. В своей повестушке Новаковский воспользовался как раз тем инструментом, которого опасался Тишнер, — выделил общественную группу, которая якобы была единственным и исключительным носителем вируса. Мы видим в рассказе, как прежние «люди ПНР» входят в новую действительность и устраиваются в ней лучше, чем остальное общество. Простота образа составляла силу текста. Писатель показывал, как бывшие слуги системы — милиционеры, а вероятно, и гзбэшники — находят свое место на должностях охранников. Некогда они были господами над чужими жизнями, теперь в социальной иерархии пали на уровень стражников чужой безопасности. Однако важно, что они переходят на службу к членам «нового класса», а класс нуворишей создают люди, которые повиновались режиму ПНР. Они-то, дает понять Новаковский, послушно участвовали в демонстрациях и митингах, они записывались в партию. В обмен на повиновение они получали паспорта на поездки в страны народной демократии и превращали поездки по братским странам в торговый обмен. После 1989 г. они вложили

заработанные до этого деньги в нелегальный бизнес с русскими, украинцами и белорусами. (...)

Метафора Тишнера должна была противостоять поискам следов ПНР в определенных социальных типах и склонять к поискам их в самих себе, но — вероятно, вопреки замыслу философа — создавала основу либерального мышления. Метафора Новаковского, наоборот, совпадала с демагогическим вариантом антикапитализма, с вариантом, в котором интеллигентско-буржуазная психология, якобы сохранявшаяся на протяжении всего существования ПНР, сталкивалась с разрушительным воздействием свободного рынка».

Исходя из метафор Тишнера и Новаковского, ставших заглавиями их книжных повествований, Чаплинский отмечает, что разговор о прошлом становится все резче и грубее, а стремление инструментализовать образ ПНР — все сильнее. В этой игре литературу, по природе стремящуюся взвешивать правоту всех сторон и передавать сложность межчеловеческих отношений, оттесняют в сторону, и господствующим нарративным жанром становится публицистика:

«Литература давно отпала в этой конкуренции. Ибо в игру перестали входить тонкие размышления о пзэнэровском прошлом, прислушивание к разговорам, наблюдение за зигзагами биографий. Теперь общественное воображение приходится формировать четкими, выразительными образами, при этом лучшими образцами оказываются взятые из моралите. Почему так произошло? На мой взгляд, потому что образ ПНР превратился в инструмент построения единства общества и стал функцией представлений об основном элементе этого единства — о рядовом человеке. Чем тривиальней фантазмы о таком поляке, тем лубочнее нарратив. А поскольку рассказчик-демагог видит своего читателя или слушателя как воплощение пассивности и заурядности, как человека, который в ПНР ничего помимо дома, костела и телевидения не видел и ничего кроме работы не делал, постольку образ ПНР становится перевернутым отражением этого фантазма заурядности. Заботясь о том, чтобы этого воображаемого рядового человека не обидеть, приходится тщательно замалчивать любые формы активности, оппозиционную деятельность, интеллектуальный труд времен ПНР.

Еще в 1998 г. разгорелся спор вокруг книги Анджея Стасюка «Как я стал писателем». Эта повестушка (...) показывала, что во

времена ПНР можно было выработать себе свободу не путем чтения подпольной литературы, а благодаря опыту черного рынка. На нее напали за воспевание «ливерной колбасы как формы духовной жизни». Спор, который вели мыслители, вытекал из защиты твердой позиции, согласно которой свободу в ПНР можно было построить исключительно на основе высокой культуры. Участники этого спора благородно заиклись на «вопросах духа», но в то же время, сами того не замечая, приписывали себе монополию на сопротивление режиму. Несколькоми годами позже эта монополия была у них отнята, а вопрос высокой культуры покинул поле боя. Началась погоня за невиновностью. (...) Окончательным, но тоже совершенно мнимым победителем в этой гонке должен был стать рядовой человек — тот, что не сотрудничал со спецслужбами ПНР, не работал на ГБ, не вступал в партию. Если, однако, мы посмотрим не на те черты, которые в этой анкете определены как «не... не... не...», а на его собственные, то окажется, что это человек без свойств. (...) Те, кто изгнал из Третьей Речи Посполитой дифференцированные биографии времен ПНР, свели наши возможности рассказать об опыте 45 лет послевоенной Польши к одному-единственному нарративному приему ».

Все-таки стоит углубиться и в более далекое прошлое, как это сделал Никодем Бонча-Томашевский, автор увлекательной книги «Истоки национальности. Возникновение и развитие польского сознания во 2 й половине XIX — начале XX века». Рецензируя ее на страницах «Европы» (2007, №22), субботнего приложения к «Дзеннику», Эва Томпсон (автор известной работы «Трубадуры империи», посвященной постколониальным мотивам в русской литературе) пишет:

«Томашевский выдвигает смелый тезис о том, что «национальное мышление сформировало картину истории, а не наоборот». Но национальное мышление невозможно без истории, так что в лучшем случае перед нами обратная связь. (...) Вполне понятно и даже хорошо, что такого рода книга написана после того, как в 1989 г. вновь была обретена независимость. 50 лет порабощения не дали возможности произвести расчет с 60 годами после восстаний, предшествовавшими первому обретению независимости в 1918 году. Тогдашние перевороты в самосознании польской элиты важны для элиты сегодняшней».

Обращая внимание на тот факт, что «книга ставит и защищает тезис, согласно которому субъектность (осознание себя

субъектом истории. — Пер.) стала источником польского чувства национальности», Томпсон пишет:

«А мне все-таки кажется, что заключенное в заглавии предложение придать ему звание «источника» польского самосознания в некотором смысле зауживает польские возможности. (...)

Во-первых, эта субъектность, которую поляки внутренне усвоили в XIX веке (...) легко соединяется со смутьянством, т.е. с отрицательными чертами польской элиты времен, предшествовавших разделам, укрепляет его и вытесняет ее же позитивные черты: оптимизм и бодрость, чувство личного достоинства, бессознательную, но глубокую укорененность в аристотелевской эпистемологии (то есть уважение к действительности и только потом — к своему «я») и основанное на таком мировоззрении приятие других. (...)

Вторая проблема — связь субъектности с эпохой политических поражений. Чувство нанесенной обиды — общая черта в сознании некогда колонизированных народов (...) но оно не входит как составной элемент в сознание народов Западной Европы или англоязычного мира. Этот «аспект обиды» создает большие трудности, когда речь идет об образе поляков в глазах этих народов: им такой образ чужд и непонятен. Между тем понимание и приятие этими народами польского национального сознания совершенно необходимо для самого этого сознания (...).

Третья проблема — польский колониализм. (...)

Чувствительные к онемечиванию и русификации, поляки были слепы и глухи к национальным движениям в бывшей Речи Посполитой и фантазировали о ее восстановлении в границах до 1772 года. Это непонимание факта, что там растут другие народы, которые несколько иначе воспринимали польское чванство на тему «многонациональной Речи Посполитой», доказывает неслыханную близорукость польских интеллигентов тех времен. К этой бесчувственности надо выработать какое-то отношение, но Томашевский этого не делает.

Остается, однако, фактом, что в описываемый период польскость утратила притягательную силу, которой обладала в XVI-XVII веках, во времена господства сарматского духа, когда целый слой грамотных людей в Литве, Белоруссии и на Украине считал себя сообществом польских граждан, независимо от языка, на котором они говорили, а многие и вовсе стали считать себя по национальности поляками. То, что так не

происходило во 2-й половине XIX века (...) наверное связано с образцами польского национального сознания тех времен (хотя обусловлено также колонизацией самой Польши). Польские «достижения национального сознания» имели место в столетия, слышущие сарматскими. Сарматская модель, основанная на любви к свободе и демократическом инстинкте («шляхтич в огороде равен воеводе»), была привлекательней модели «субъектности».

Поэтому не следует забывать, что представленный Томашевским период «явления» польского национального сознания под влиянием заимствованных философских идей был одновременно периодом, когда предложение быть поляком было окончательно отвергнуто значительной частью населения бывшей Речи Посполитой. (...) Польские соседи и польские меньшинства на протяжении уже ряда поколений не принимают польское национальное самосознание в той форме, в какой оно существовало (а частично существует и теперь) в умах польской элиты.

В модели, которую предлагает Томашевский, нет места для выработки отношения к этим вопросам. Таким образом, по эпистемологическим и экзистенциальным причинам модель польскости, которая обрисована Томашевским и квинтэссенцию которой составляет польское чувство субъектности и польская любовь к свободе, сравнительно легко аннулировать «снаружи». (...)

Мне кажется, что если бы польская элита сумела артикулировать неосарматское предложение, коренящееся в эпохе, когда с поляками в Европе считались и когда ими не удавалось пренебрегать так, как часто пренебрегают сегодня, его было бы труднее аннулировать».

Эва Томпсон предлагает укоренить эту сарматскую модель путем усвоения старопольских текстов, составляющих для нее точку отсчета; как пример таких поисков она называет недавно изданную антологию поэзии XVII века «Слушай меня, Савромата», которую составил поэт Кшиштоф Кёлер, связанный с так называемым поколением «бруЛьона» (по названию литературного журнала, начавшего выходить в подполье в 80-е годы. — Пер.). Одно не подлежит сомнению: дискурс, касающийся как истории глубокого прошлого, так и новейшей, следовало бы освободить от тенденций к упрощению или редуцированию. Можно также надеяться, что нынешние дискуссии, хоть и ведутся в тени идеологически-политических споров, но кладут начало пересмотру прежних стереотипов, выступающих в дискуссиях на тему польского

национального сознания. Безмерно важно, чтобы эти дискуссии не оказались подчинены господствующему сегодня нарративу, присущему сторонникам т.н. исторической политики.